



"Печальный детектив"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Глава первая

Леонид Сошнин возвращался домой в самом дурном расположении духа. И хотя идти было далеко, почти на окраину города, в железнодорожный поселок, он не сел в автобус — пусть ноет раненая нога, зато ходьба его успокоит и он обдумает все, что ему говорили в издательстве, обдумает и рассудит, как ему дальше жить и что делать.

Собственно, издательства, как такового, в городе Вейске не было, от него осталось отделение, само же издательство перевели в город более крупный, и, как, наверное, думалось ликвидаторам, более культурный, обладающий мощной полиграфической базой. Но «база» была такой же точно, как в Вейске, — дряхлое наследство старых русских городов. Типография располагалась в дореволюционном здании из крепкого бурого кирпича, прошитого решетками узких оконеч по низу и фасонно изогнутыми по верху, тоже узкими, но уже вознесенными ввысь вроде восклицательного знака. Половина здания вейской типографии, где были наборные цехи и печатные машины, давно уж провалилась в недра земли, и хотя по потолку сплошными рядами лепились лампы дневного света, все равно в наборном и печатном цехах было неуютно, зябко и что-то все время, будто в заложенных ушах, сверчало или работал, закопанный в подземелье, взрывной механизм замедленного действия.

Отделение издательства ютилось в двух с половиной комнатах, со скрипом выделенных областной газетой. В одной из них, окутавшись сигаретным дымом, дергалось, елозило на стуле, хваталось за телефон, сорило пеплом местное культурное светило — Сыроквасова Октябрина Перфильевна, двигая вперед и дальше местную литературу. Сыроквасова считала себя самым сведущим человеком: если не во всей стране, то в Вейске ей по интеллекту равных не было. Она делала доклады и отчеты о текущей литературе, делилась планами издательства через газету, иногда, в газетах же, и рецензировала книги здешних авторов, к месту и не к месту вставляя цитаты из Вергилия и Данте, из Савонаролы, Спинозы, Рабле, Гегеля и Экзюпери, Канта и Эренбурга, Юрия Олеши, Трегуба и Ермилова, впрочем, и прах Эйнштейна с Луначарским иногда тревожила, вождей мирового пролетариата вниманием тоже не обходила.

Все уже давно с книгой Сошнина решено. Рассказы из нее напечатаны пусть и в тонких, но столичных журналах, разочка три их снисходительно упомянули в обзорных критических статьях, он пять лет простоял «в затылок», попал в план, утвердился в нем, осталось отредактировать и оформить книгу.

Назначив время делового свидания ровно в десять, Сыроквасова явилась в отделение издательства к двенадцати. Опахнув Сошнина табачищем, запыхавшаяся, она промчалась мимо него по темному коридору — лампочки кто-то «увел», хрипло бросила «Извините!» и долго хрустела ключом в неисправном замке, вполголоса ругаясь.

Наконец дверь рассерженно крякнула, и старая, плотно не притворяющаяся плица пустила в коридор щель серого, унылого света — па улице вторую неделю шел мелкий дождь, размывший снег в кашу, превративший в катушки улицы и переулки. На речке начался ледоход — в декабре-то!

Тупо и непрерывно ныла нога, жгло и сверлило плечо от недавней раны, долила усталость, тянуло в сон — ночью не спалось, и опять он спасался пером и бумагой. «Неизлечимая это

болезнь — графоманство», — усмехнулся Сошнин и, кажется, задремал, но тут встряхнуло тишину стуком в гулкую стену.

— Галя! — с надменностью бросила в пространство Сыроквасова. — Позови ко мне этого гения!

Галя — машинистка, бухгалтер да еще и секретарша. Сошнин осмотрелся: в коридоре больше никого не было, гений, стало быть, он.

— Эй! Где ты тут? — ногой приоткрыв дверь, высунула Галя коротко стриженную голову в коридор. — Иди. Зовут.

Сошнин передернул плечами, поправил на шее новый атласный галстук, пригладил набок ладонью волосы. В минуты волнения он всегда гладил себя по волосам — маленького его много и часто гладили соседки и тетя Лина, вот и приучился оглаживаться. — «Спокойно! Спокойно!» — приказал себе Сошнин и, воспитанно кашлянув, спросил:

— Можно к вам? — Наметанным глазом бывшего оперативника он сразу все в кабинете Сыроквасовой охватил: старинная точеная этажерка в углу; надетая на точеную деревянную пику, горбато висела мокрая, всем в городе примелькавшаяся рыжая шуба. У шубы не было вешалки. За шубой, на струганом, но некрашеном стеллаже расставлена литературная продукция объединенного издательства. На переднем плане красовались несколько совсем недурно оформленных рекламно-подарочных книг в ледериновых переплетах.

— Раздевайтесь, — кивнула Сыроквасова на старый желтый шкаф из толстого теса. — Там вешалок нет, вбиты гвозди. Садитесь, — указала она на стул напротив себя. И когда Сошнин снял плащ, Октябрина Перфильевна с раздражением бросила перед собой папку, вынув ее чуть ли не из-под подола.

Сошнин едва узнал папку со своей рукописью — сложный творческий путь прошла она с тех пор, как сдал он ее в издательство. Взором опять же бывшего оперативника отметил он, что и чайник на нее ставили, и кошка на ней сидела, кто-то пролил на папку чай. Если чай? Вундеркинды Сыроквасовой — у нее трое сыновей от разных творческих производителей — нарисовали на папке голубя мира, танк со звездой и самолет. Помнится, он нарочно подбирал и берег пестренькую папочку для первого своего сборника рассказов, беленькую наклейку в середине сделал, название, пусть и не очень оригинальное, аккуратно вывел фломастером: «Жизнь всего дороже». В ту пору у него были все основания утверждать это, и нес он в издательство папку с чувством неизведанного еще обновления в сердце, и жажду жить, творить, быть полезным людям — так бывает со всеми людьми, воскресшими, выкабкавшимися из «оттуда».

Беленькая наклейка сделалась за пять лет серенькой, кто-то поковырял ее ногтем, может, клей плохой был, но праздничное настроение и светлость в сердце — где все это? Он видел на столе небрежно хранимую рукопись с двумя рецензиями, на ходу написанными бойкими здешними пьяницами-мыслителями, подрабатывающими у Сыроквасовой и видевшими милицию, которая отражена была в его творчестве в этой вот пестренькой папке, чаще всего в медвытрезвителе. Сошнин знал, как дорого обходится всякой жизни, всякому обществу человеческая небрежность. Что-что, это усвоил. Накрепко. Навсегда.

— Ну-с, значит, дороже всего жизнь, — скривила губы Сыроквасова и затянулась сигареткой, окуталась дымом, быстро пролистывая рецензии, все повторяя и повторяя в раздумчивой отстраненности: — Дороже всего... дороже всего...

— Я так думал пять лет назад.

— Что вы сказали? — подняла голову Сыроквасова, и Сошнин увидел дряблые щеки, неряшливо засиненные веки, неряшливо же сохлой краской подведенные ресницы и брови — мелкие черные комочки застряли в уже очерствелых, полувывлезших ресницах и бровях. Одета Сыроквасова в удобную одежду — этакую современную бабью спецовку: черную водолазку — не надо часто стирать, джинсовый сарафан поверху — не надо гладить.

— Я думал так пять лет назад, Октябрина Перфильевна.

— А сейчас так не думаете? — Язвительность так и сквозила в облике и словах Сыроквасовой, роющей в рукописи, словно в капустных отбросах. — Разочаровались в жизни?

— Еще не совсем.

— Вот как! Интересно-интересно! Похвально-похвально! Не совсем, значит?..

«Да она же забыла рукопись! Она же время выигрывает, чтоб хоть как-то, на ходу ознакомиться с нею вновь. Любопытно, как она будет выкручиваться? Очень любопытно!» — Сошнин ждал, не отвечая на последний полувопрос редакторши.

— Я думаю, разговора длинного у нас не получится. Да и ни к чему время тратить. Рукопись в плане. Я тут кое-что поправлю, приведу ваше сочинение в Божий вид, отдам художнику. Летом, я полагаю, вы будете держать свое первое печатное детище в руках. Если, конечно, дадут бумагу, если в типографии ничего не стрясется, если не сократят план и тэ-дэ и тэ-пэ. Но я вот о чем хотела бы поговорить с вами, на будущее. Судя по прессе, вы упорно продолжаете работать, печатаетесь, хотя и не часто, но злободневно, да и тема-то у вас актуальная — милицейская!

— Человеческая, Октябрина Перфильевна.

— Что вы сказали? Ваше право так думать. А если откровенно — до человеческих, тем более общечеловеческих проблем вам еще ой как далеко! Как говорил Гете: «Уннерайхбар ви дер химмель» — «Высоко и недоступно, как небо».

Что-то не встречал Сошнин у великого немецкого поэта подобного высказывания. Видать, Сыроквасова в суетности жизни спутала Гете с кем-то или неточно его процитировала.

— Вы еще не усвоили толком, что такое фабула, а без нее, извините, ваши милицейские рассказы — мякина, мякина с обмолоченного зерна. — Понесло Сыроквасову в теорию литературы. — А уж ритм прозы, ее, так сказать, квинтэссенция — это за семью печатями. Есть еще форма, вечно обновляющаяся, подвижная форма...

— Что такое форма — я знаю.

— Что вы сказали? — очнулась Сыроквасова. При вдохновенной проповеди она закрыла глаза, насорила пепла на стекло, под которым красовались рисунки ее гениальных детей, мятая фотография заезжего поэта, повесившегося по пьянке в гостинице три года назад и по этой причине угодившего в модные, почти святые ряды преставившихся личностей. Пепел насорился на подол сарафана, на стул, на пол, да еще сарафан пепельного цвета, и вся Сыроквасова вроде бы засыпана пеплом или тленом времени.

— Я сказал, что знаю форму. Носил ее.

— Я не милицейскую форму имела в виду.

— Не понял вашей тонкости. Извините. — Леонид поднялся, чувствуя, что его начинает захлестывать бешенство. — Если я вам более не нужен, позволю себе откланяться.

— Да-да, позволяйте, — чуть смешалась Сыроквасова и перешла на деловой тон. — Аванс вам в бухгалтерии выпишут. Сразу шестьдесят процентов. Но с деньгами у нас, как всегда, плохо.

— Спасибо. Я получаю пенсию. Мне хватает.

— Пенсию? В сорок лет?!

— Мне сорок два, Октябрина Перфильевна.

— Какой это возраст для женщины? — Как и всякое вечно раздраженное существо женского рода, Сыроквасова спохватилась, завияла хвостом, пробовала сменить язвительность тона на полушутливую доверительность.

Но Сошнин не принял перемен в ее тоне, раскланялся, выбрал в полутемный коридор.

— Я подержу дверь открытой, чтоб вы не убились, — крикнула вслед Сыроквасова.

Сошнин ей не ответил, вышел на крыльцо, постоял под козырьком, украшенным по ободку старинными деревянными кружевами. Искрошены они скучающими рукосуями, будто ржаные пряники. Подняв воротник утепленного милицейского плаща, Леонид втянул голову в плечи и шагнул под бесшумную наволочь, словно в провальную пустыню. Он зашел в местный бар, где постоянные клиенты встретили его одобрительным гулом, взял рюмку коньяку, выпил ее махом и вышел вон, чувствуя, как черствеет во рту и теплеет в груди. Жжение в плече как бы стиралось теплотой, ну а к боли в ноге он как будто привык, пожалуй что, просто примирился с нею.

«Может, еще выпить? Нет, не надо, — решил он, — давно не занимался этим делом, еще захмелею...»

Он шел по родному городу, из-под козырька мокрой кепки, как приучила служба, привычно отмечал, что делалось вокруг, что стояло, шло, ехало. Гололедица притормозила не только движение, но и самую жизнь. Люди сидели по домам, работать предпочитали под крышей, сверху лило, хлюпало всюду, текло, вода бежала не ручьями, не речками, как-то бесцветно, сплошно, плоско, неорганизованно: лежала, кружилась, переливалась из лужи в лужу, из щели в щель. Всюду обнаружился прикрытый было мусор: бумага, окурки, раскисшие коробки, трепыхающийся на ветру целлофан. На черных липах, на серых тополях лепились вороны и галки, их шевелило, иную птицу роняло ветром, и она тут же слепо и тяжело цеплялась за ветку, сонно, со старческим ворчаньем мостилась на нее и, словно подавившись косточкой, клекнув, смолкала.

И мысли Сошнина под стать погоде, медленно, загустело, едва шевелились в голове, не текли, не бежали, а вот именно вяло шевелились, и в этом шевелении ни света дальнего, ни мечты, одна лишь тревога, одна забота: как дальше жить?

Ему было совершенно ясно: в милиции он отслужил, отвоевался. Навсегда! Привычная линия, накатанная, однокорейная — истребляй зло, борись с преступниками, обеспечивай покой людям — разом, как железнодорожный тупик, возле которого он вырос и отыграл детство свое в «железнодорожника», оборвалась. Рельсы кончились, шпалы, их связующие, кончились, дальше никакого направления, никакого пути нет, дальше вся земля сразу, за тупиком, — иди во все стороны, или вертись на месте, или сядь на последнюю в тупике, истрескавшуюся от

времени, уже и не липкую от пропитки, выветренную шпалу и, погрузившись в раздумье, дремли или ори во весь голос: «Сяду я за стол да подумаю, как на свете жить одинокому...»

Как на свете жить одинокому? Трудно на свете жить без привычной службы, без работы, даже без казенной амуниции и столовой, надо даже об одежонке и еде хлопотать, где-то стирать, гладить, варить, посуду мыть.

Но не это, не это главное, главное — как быть да жить среди народа, который делился долгое время на преступный мир и непроступный мир. Преступный, он все же привычен и однолик, а этот? Каков он в пестроте своей, в скопище, суе и постоянном движении? Куда? Зачем? Какие у него намерения? Каков норев? «Братцы! Возьмите меня! Пустите к себе!» — хотелось закричать Сошнину сперва вроде бы в шутку, поерничать привычно, да вот закончилась игра. И обнаружилась, подступила вплотную житуха, будни ее, ах, какие они, будни-то, у людей будничные.

Сошнин хотел зайти на рынок, купить яблок, но возле ворот рынка с перекосившимися фанерными буквами на дуге «Добро пожаловать», корячилась и привязывалась к прохожим пьяная женщина по прозвищу Урна. За беззубый, черный и грязный рот получила прозвище, уже и не женщина, какое-то обособленное существо, со слепой, полубезумной тягой к пьянству и безобразиям. Была у нее семья, муж, дети, пела она в самодеятельности железнодорожного ДК под Мордасову — все пропила, все потеряла, сделалась позорной достопримечательностью города Вейска. В милицию ее уже не брали, даже в приемнике-распределителе УВД, который в народе зовется «бичевником», а в старые времена звался тюрьмой для бродяг, не держали, из вырезвителя гнали, в Дом престарелых не принимали, потому что она была старой лишь на вид. Вела она себя в общественных местах срамно, стыдно, с наглым и мстительным ко всем вызовом. С Урной невозможно и нечем бороться, она, хоть и валялась на улице, спала по чердакам и на скамейках, не умирала и не замерзала.

А-ах, мой вессе-олай смех
Всегда имел успех... —

хрипло орала Урна, и моросью, стылой пространственностью не вбирало ее голоса, природа как бы отделяла, отталкивала от себя свое исчадь. Сошнин прошел рынок и Урну стороной. Все так же текло, плыло, сочилось мозглой пустотой по земле, по небу, и не было конца серому свету, серой земле, серой тоске. И вдруг посреди этой беспросветной, серой планеты произошло оживление, послышался говор, смех, на перекрестке испуганно кхекнула машина.

По широкой, осенью лишь размеченной улице, точнее, по проспекту Мира, по самой его середке, по белым пунктирам разметки неспешно следовала пегая лошадь с хомутом на шее, изредка охлестываясь мокрым, форсисто постриженным хвостом. Лошадь знала правила движения и цокала подковами, как модница импортными сапожками, по самой что ни на есть нейтральной полосе. И сама лошадь, и сбруя на ней были прибраны, ухожены, животное совершенно не обращало ни на кого и ни на что внимания, неспешно топая по своим делам.

Народ единодушно провожал лошадь глазами, светлел лицами, улыбался, сыпал вослед коняге реплики: «Наладила от скупого хозяина!», «Сама пошла сдаваться на колбасу», «Н-не, в вырезвитель — там теплей, нежели в конюшне», «Ничего подобного! Идет докладывать супружнице Лаври-казака насчет его местонахождения...»

Сошнин тоже заулыбался из-под воротника, проводил лошадь взглядом — она шла по направлению к пивзаводу. Там ее конюшня. Хозяин ее, коновозчик пивзавода Лавря Казаков, в

народе — Лавря-казак, старый гвардеец из корпуса генерала Белова, кавалер трех орденов Славы и еще многих боевых орденов и медалей, развез по «точкам» сидро и прочие безалкогольные напитки, подзасел с мужичками на постоянной «точке» — в буфете Сазонтьевской бани — потолковать о прошлых боевых походах, о современных городских порядках, про лютость баб и бесхарактерность мужиков, лошадь же разумную свою, чтоб не мокло и не дрогло животное под небом, пустил своим ходом на пивзавод. Вся вейская милиция, да и не только она, все коренные жители Вейска знали: где стоит пивзаводская телега, там ведет беседы и отдыхает Лавря-казак. А лошадь у него ученая, самостоятельная, все понимает и пропасть себе не даст.

Вот уж и сместилось что-то в душе, и погода дурная не так уж гнетуща, порешил Сошнин, привыкнуть пора — родился здесь, в гнилом углу России. А посещение издательства? Разговор с Сыроквасовой? Да шут с ней! Ну, дура! Ну, уберут ее когда-нибудь. Книжка ж и в самом деле не ахти — первая, наивная, шибко замученная подражательностью, да и устарела она за пять лет. Следующую надо делать лучше, чтобы издавать помимо Сыроквасовой; может, и в самой Москве...

Сошнин купил в гастрономе батон, банку болгарского компота, бутылку молока, курицу, если это скорбно зажмуренное, иссиня-голое существо, прямо из шеи которого, казалось, торчало много лап, можно назвать курицей. Но цена прямо-таки гусиная! Однако и это не предмет для досады. Супу вермишельного сварит, хлебнет горяченького и, глядишь, после сытного обеда по закону Архимеда, под монотонную капель из батареи, под стук старых настенных часов — не забыть бы завести, под шлепанье дождя полтора-два часа почитает всласть, потом соснет, и на всю ночь за стол — творить. Ну, творить не творить, но все же жить в каком-то обособленном, своим воображением созданном мире.

Жил Сошнин в новом железнодорожном микрорайоне, но в старом двухэтажном деревянном доме под номером семь, который забыли снести, после забытье узаконили, подцепили дом к магистрали с теплой водой, к газу, к сточным трубам, — построенный в тридцатых годах по нехитрому архитектурному проекту, с внутренней лестницей, делящей дом надвое, с острым шалашиком над входом, где была когда-то застекленная рама, чуть желтый по наружным стенам и бурый по крыше дом скромно жмурился и покорно уходил в землю между глухими торцами двух панельных сооружений. Достопримечательность, путевая веха, память детства и добрый приют людей. Жители современного микрорайона ориентировали приезжих людей и себя по нему, деревянному пролетарскому строению: «Как пойдешь мимо желтого домика...»

Сошнин любил родной свой дом или жалел — не понять. Наверное, и любил, и жалел, потому что в нем вырос и никаких других домов не знал, нигде, кроме общежитий, не жывал. Отец его воевал в кавалерии, и тоже в корпусе Белова, вместе с Лаврей-казакком, Лавря — рядовым, отец — комзвода. С войны отец не вернулся, погиб во время рейда кавкорпуса по тылам врага. Мать работала в технической конторе станции Вейск, в большой, плоской, полутемной комнате, и жила вместе с сестрой в этом вот домике, в квартире номер четыре, на втором этаже. Квартира состояла из двух квадратных комнаток и кухни. Два окна одной комнатки выходили на железнодорожную линию, два окна другой комнатки — во двор. Квартиру когда-то дали молодой семье железнодорожников, сестра мамы его, Сошнина тетка, приехала из деревни водиться с ним, он ее помнил и знал больше матери оттого, что в войну всех конторских часто наряжали разгружать вагоны, на снегоборьбу, на уборку урожая в колхозы, дома мать бывала редко, за войну надорвалась, на исходе войны тяжело простудилась, заболела и умерла.

Они остались вдвоем с теткой Липой, которую Леня, ошибившись еще в раннем возрасте,

назвал Линой, да так Линой она и закрепилась в его памяти. Тетка Лина пошла по стопам сестры и заняла ее место в технической конторе. Жили они, как и все честные люди их поселка, соседством, картофельным участком за городом, от получки до получки дотягивали с трудом. Иногда, если случалось справить обнову или погулять в праздник, — и не дотягивали. Тетка замуж не выходила и не пробовала выходить, повторяя: «У меня Леня». Но погулять широко, по-деревенски шумно, с песнями, переплясами, визгом любила.

Кто? Что сотворил с этой чистой, бедной женщиной? Время? Люди? Поветрие? Пожалуй, что и то, и другое, и третье. В той же конторе, на той же станции она перешла за отдельный стол, за перегородку, потом ее перевели аж «на гору», в коммерческий отдел Вейского отделения дороги. Начала тетя Лина приносить домой деньги, вино, продукты, сделалась взвинченно-веселой, запаздывала домой с работы, пробовала форсить, подкрашиваться. «Ох, Ленька, Ленька! Пропаду я — и ты пропадешь!..» Тетке звонили кавалеры. Ленька, бывало, возьмет трубку и, не здороваясь, грубо спрашивает: «Кого надо?» — «Липу» — «Нет у нас такой!» — «Как это нет?» — «Нет, и все!» Тетя скребнет по трубке лапкой: «Мне это, мне...» — «Ах, вам тетю Лину? Так бы и сказали!.. Да, пожалуйста! Всегда пожалуйста!» И не сразу, а потиранив тетю, передаст ей трубку. Та ее в горсточку зажмет: «Зачем звонишь? Я же говорила, потом... Потом-потом! Когда-когда?..» И смех, и грех. Опыта-то никакого, возьмет и проболтается: «Когда Леня в школу уйдет».

Леня уже подросток, с гонором уже: «Я и сейчас могу уйти! На сколько, подскажи, и бу сделано...» — «Да ну тебя, Леня! — пряча глаза, зардеется тетка. — Из конторы звонят, а ты Бог весть что...»

Он ее усмешкой разил, и взглядом презрительным испепелял, особо когда тетя Лина забывалась: отставит стоптанный тапочек, переплетет ногу ногой, вытянется на носочке — этакая фифа-десятиклассница в общественном автомате глазки показывает и «ди-ди-ди, ди-ди-ди...». Паренечку ж как раз пол мести надо, и он обязательно веником ножку тете поправит, на место ее водворит или запоем ломким басом: «Уйми-и-и-итесь, волнения страсти».

Всю жизнь добрая женщина с ним и для него жила, как же он мог ею с кем-то делиться? Современный же мальчик! Эгоист же!

Возле здания областного управления внутренних дел, облицованного почему-то керамической плиткой, завезенной аж с Карпат, но красивей от этого не ставшего, даже как бы еще более помрачневшего, в «Волге» вишневого цвета, навалившись на дверь, дремал шофер Ванька Стригалев в кожанке и кроличьей шапке — тоже очень интересный человек: он мог в машине просидеть сутки, не читая, о чем-то медленно думая. Сошнину доводилось вместе с работниками УВД, дядей Пашей, и его другом, старцем Аристархом Капустиним, ездить на рыбалку, так рыбаки даже чувство неловкости испытывали оттого, что молодой парень с бакенбардами сидит целый день в машине и ждет рыбаков. «Ты бы хоть почитал, Ваня, журналы, газетки или книгу». — «А че их читать-то? Че от их толку», — скажет Ваня, сладко зевнет и платонически передернется.

Вон и дядя Паша. Он всегда метет. И скребет. Снегу нет, смыло, так он воду метет, за ворота увэдэвского двора ее выгоняет, на улицу. Мести и долбить — это не самоглавнейшее для дяди Паши действие. Был он совершенно помешанным рыбаком и болельщиком хоккея, дворником пошел ради достижения своей цели; человек не пьющий, но выпивающий, на хоккей и на рыбалку дядя Паша, чтобы не разорять пенсию, не рвать ее на части, прирабатывал дворницкой метлой — на «свои расходы», пенсию же отдавал в надежные руки жены. Та каждый раз с расчетом и выговором выдавала ему «воскресные»: «Ето тебе, Паша, пятерик на

рыбалку, это тебе трояк — на коккей твой клятый».

В УВД держалось еще несколько лошадей и маленькая конюшня, которую ведал дяди Пашин друг, старец Аристарх Капустин. Вдвоем они подкопали родную милицию, дошли до горячих труб, до теплоцентрали, проложенной в здание УВД, навалили на эти трубы конского назьма, земли, перегноя, замаскировали сверху плитами шифера — и таких червей плодили круглый год в подкопе, что за наживку их брали на любой транспорт, даже начальственный. С начальством дядя Паша и старец Аристарх Капустин ездить не любили. Они уставали от начальства и от жен в повседневной жизни, хотели на природе быть совершенно свободными, отдохнуть, забыться от тех и от других.

Старики выходили в четыре часа на улицу, становились на перекрестке, опершись на пешни, и скоро машина, чаще всего кузовная, накрытая брезентом или ящиком из фанеры, притормаживала и как бы слизывала их с асфальта — чьи-то руки подхватывали стариков, совали их за спины, в гущу народа. «А-а, Паша! А-а, Аришаша! Живы еще?» — раздавались возгласы, и с этого момента бывалые рыбаки, попав в родную стихию, распускались телом и душой, говорили о «своем» и со «своими».

У дяди Паши вся правая кисть была в белых шрамах, и к этим дяди Пашиным шрамам рыбаки, да и не только рыбаки, но и остальная общественность города относились, быть может, еще почтительней, чем к его боевым ранениям.

Массовый рыбак подвержен психозу, он волнами плещется по водоему, долбит, вертит, ругается, вспоминает прежние рыбалки, клянет прогресс, погубивший рыбу, сожалеет о том, что не поехал на другой водоем.

Не такой рыбак дядя Паша. Он припадет к одному местечку и ждет милостей от природы, хотя и мастер в рыбалке не последний, худо-бедно, на ушицу всегда привозит, случалось, и полную шарманку — ящик, мешок и рубаху нижнюю, по рукавам ее завязавши, набивал рыбой дядя Паша, — все тогда управление уху хлебало, особенно низовой аппарат, — всех наделял рыбой дядя Паша. Старец Аристарх Капустин, тот поприжимистей, тот рыбку вялил меж рам в своей квартире, затем, набивши карманы сушенкой, являлся в буфет Сазонтьевской бани, стучал рыбкой по столу — и всегда находились охотники потискать зубами соленькое и поили старца Аристарха Капустина дармовым пивом.

Про дядю Пашу рассказывали каверзную небыль, которой он и сам, однако, одобрительно посмеивался. Будто припал он к лунке, но всякий мимо проходящий рыбак пристаёт: «Как клев?» Молчит дядя Паша, не от вечает. Его тормозат и тормозат! Не выдержал дядя Паша, выплюнул из-за щеки живых червяков и заругался: «Всю наживку с вами заморозишь!..»

Верного связчика его, старца Аристарха Капустина, одной весной подхватила прихоть поиска — вечером хлынула большая, втекающая в Светлое озеро река, поломала, наторосила лед, мутной, кормной волной подпятила рыбу к середине озера. Сказывали, с вечера, почти в темноте уже, начал брать **сам** — матерый судак, и местные рыбаки крепко обрыбились. Но к утру граница мутной воды сместилась и куда-то, еще дальше отпятилась рыба. А куда? Озеро Светлое в ширину пятнадцать верст, в длину — семьдесят. Шипел на связчика Аристарха Капустина дядя Паша: «Нишкни! Сиди! Тута она будет...» Но где там! Лукавый понес старца Аристарха Капустина по озеру.

Полдня злился на Аристарха Капустина дядя Паша, дергал удочками сорожонку, случался крепенький окунек, два раза на ходу цеплялась за рыбешку и рвала лески щучонка. Дядя Паша

спустил под лед блесну, подразнил щучонку и вывернул ее наверх — не балуй! Вон она, хищница подводного мира, плещется на вешнем льду, аж брызги летят, в пасти у нее обрывки тонких лесок с мормышками, словно вставными, блестящими зубами украшена наглая пасть. Дядя Паша не вынает мормышки, пусть попомнит, фулюганка, как разорять малоимущих рыбаков!

К полудню из разверстых врат притихшего монастыря с хотя и обветшалыми, но нетленными башенками, имеющего у въезда скромную вывеску «Школа-интернат», вышли и притащились на озеро два отрока, два братца, Антон и Санька, девяти и двенадцати лет. «Сбегли они с последних уроков», — догадался дядя Паша, но не осудил мальцов — учиться им еще долго, может, всю жизнь, весенняя же рыбалка — праздничная пора, мелькнет — не заметишь. Большую в тот день драму пережили вместе с дядей Пашей отроки. Только-только уселись парни подле удочек, как у одного из них взялась и сошла уже в лунке крупная рыбина. Сошла у младшенького, он горько заплакал. «Ничего, ничего, парняга, — напряженным шепотом утешал его дядя Паша, — будет наша! Никуда не денется! На тебе конфетку и ишшо крендель городской, с маком».

Дядя Паша все предчувствовал и рассчитал: к полудню к мутной воде, где кормится планктоном снеток и другая мелкая рыбешка, в озеро еще дальше протолкнется река, пронесет муть и подвалит на охоту крупный «хычник». Отряды рыбаков, зверски бухающие пешнями, грохающие сапогами, оглашающие окрестность матом, ее, пугливую и чуткую рыбу, не переносящую отборного мата, отгонят в «нейтральную полосу», стало быть, сюда вот, где вместе с отроками с самого раннего утра, не сказав — ни единого! — бранного слова, терпит и ждет ее дядя Паша.

И расчет его стратегический полностью подтвердился, терпение его и скромность в выражениях были вознаграждены: три судака весом по кило лежали на льду и скорбно глазели в небо оловянными зрачками. Да еще — самые, конечно, крупные, — два судака сошли! Но кто радовал независтливое сердце дяди Паши, так это малые рыбаки — отроки Антон и Санька. Они тоже достали по два судака на свои утильные, из ружейного патрона склепанные блесны. Младшенький кричал, смеялся, снова и снова рассказывал о том, как клюнуло, как он попер!.. Дядя Паша растроганно его поощрял: «Ну вот! А ты — плакать? В жизни завсегда так: то клюет, то не клюет...»

Тут и случилось такое, что в смятение ввело не только рыбаков, но почти все приозерное население, да и часть города Вейска сотрясло героическое событие.

Снедаемый сатаной, рыбацким ли дьяволом, дядя Паша, чтоб не стучать пешней, сдвинулся на ребячьи лунки, просверленные ледобуром. И только опустил свою знаменитую, под снетка излаженную блесну, как ее пробным толчком щипнуло, затем долбануло, да так, что он, уж какой опытный рыбак! — едва удержал в руке удочку! Долбануло, надавило, повело в глыбы озерных вод.

Судачина на семь килограммов и пятьдесят семь граммов — это было потом с аптекарской точностью вывешено, — застрял в узкой лунке. Дядя Паша, плюхнувшись на брюхо, сунул руку в лунку и зажал рыбину под жабры. «Бей!» — скомандовал он отрокам, мотая головой на пешню. Старший отрок прыгнул, схватил пешню, замахнулся и замер: как «бей»?! А рука? И тогда закаленный фронтовик, бешено вращая глазами, гаркнул: «А как на войне!» — и бедовый парнишка, заранее вспотев, начал раздалбливать лунку.

Скоро лунку прошило красными ниточками крови. «Вправо! Влево! В заступ! В заступ бери! В заступ! Леску не обрежь...» — командовал дядя Паша. Полная лунка крови была, когда дядя

Паша вынул из воды и бросил на лед уже вялое тело рыбины. И тут же, взбрыкнув кореженными ревматизмом ногами, заплясал, заорал дядя Паша, да скоро опомнился и, чакая зубами, отворил шарманку, сунул ребятам флягу с водкой, приказал растирать занемелую руку, обезвреживать раны.

Два дня подряд во дворе УВД шла демонстрация, в центре которой перевязанный дядя Паша разводил руками, тряс, дергал, выводил, бросал, орал, прыгал, пел. Сошнин, глядя на все это в окошко, сожалел, что не владеет камерой, — это было бы величайшее кино!

На третий день начальник хозчасти отправил дядю Пашу в санупр, где рыбаку дали бюллетень с пометкой «бытовая травма», то есть не оплачиваемый. Ну, тут уж все сотрудники поднялись в защиту героя, звонили в санупр, в облздрав — и добились справедливости: «бытовая» травма была переправлена на «боевую».

Коммерческий отдел пересудили и пересажали разом. Тетя Лина травилась. Ее спасли и после суда отправили в исправительно-трудовую колонию. Срок ей дали короткий, но мук и позора тетка и Леня вместе с ней пережили много. Сошнин уже учился в областной спецшколе УВД, тетка настояла: «Обмундирование бесплатное, питание, догляд и работа в защиту справедливости...» Она чувствовала — догадался он потом, — что ей несдобровать, и хотела устроить дитяню попрочнее. Из спецшколы Сошнина чуть было не помели. Конторские служащие, жители седьмого и соседних домов, на глазах которых он рос, но главное, однополчанин и друг отца Лавря-казак походатайствовали за него. Лавря-казак подстригся, наодеколонился, почистил штиблеты, обрядился в новый костюм, к борту коего прицепил ордена Славы и еще два ряда орденов, и во всем параде двинул к начальнику областного управления внутренних дел, где имел долгую беседу.

Потом Лавря-казак запряг свою верную лошадку, и они вдвоем с Ленией ездили «на торф» — попроведать тетю Лину. Она бухнулась на колени перед боевым фронтовиком, и племянник ее, будущий страж порядка, отвернулся, глотал слезы и клялся про себя беспощадно бороться с преступностью, особо с теми, кто совращает, сбивает с пути невинных людей, калечит им судьбы и души.

Тетю Лину освободили по амнистии. Она поступила работать в химчистку, прирабатывала дома стиркой и все жалась по углам, старалась днем не показываться на люди, говорила тихо, и когда умерла, то Лене казалось: и в домовине она старалась сжаться, прятала от людей глаза и руки, изъеденные химикалиями и мылом, под ластами кружевной черной накидки.

Еще до смерти тети Лины Сошнин окончил спецшколу, поработал в отдаленном Хайловском районе участковым, оттуда и привез жену. Тетя Лина успела маленько порадоваться Лениному устройству, понянчилась с его дочкой Светой, которую считала внучкой, и, когда стала умирать, все сожалела, что не успела дотянуть внучку до школы, не поставила ее на крепкие ноги, мало, совсем мало помогла молодым.

Ах, эти молодые-удалые!.. Гривачи мои... Хорошо бы для них сделать отступление в самой гуманной конституции, отдельным указом ввести порку: молодого принародно, среди широкой площади порола бы молодая, а молодую — молодой...

После смерти тети Лины перешли Сошнины небольшой и совсем не спаянной ячейкой на руки другой, не менее надежной тетки по имени Граня, по фамилии Мезенцева, которая никакой теткой Сошниным не доводилась, а являлась родней всех угнетенных и осиротевших возле железной дороги народов, нуждающихся в догляде, участии и трудоустройстве.

Тетя Граня работала стрелочницей на маневровой горке и прилегающих к ней путям. Стрелочная будка стояла почти на выносе со станции, на задах ее. Был тут построенный и давно покинутый туник с двумя деревянными тумбами, заросший бурьяном. Лежало под откосом несколько ржавых колесных пар, скелет двухосного вагона, кем-то и когда-то разгруженный штабель круглого леса, который тетя Граня никому растаскивать не давала и много лет, пока лес не подгнил, ждала потребителя, да, так и не дождавшись, стала ножовкой отпиливать от бревен короткие чурбаки, и ребята, стадом обретавшиеся возле стрелочного поста, на этих чурках сидели, катались, строили из них паровоз.

Никогда не имевшая своих детей, тетя Граня и не обладала учеными способностями детского воспитателя. Она детей просто любила, никого не выделяла, никого не била, не ругала, обращалась с ребятами, как со взрослыми, угадывала и укрощала их нравы и характеры, не прилагая к тому никаких талантов, тонкостей педагогического характера, на которых так долго настаивает нравоучительная современная печать. Возле тети Грани просто росли мужики и бабы, набирались сил, железнодорожного опыта, смекалки, проходили трудовую закалку. Закуток со стрелочной будкой многим ребятам, в том числе и Лене Сошнину, был и детсадом, и площадкой для игр, и школой труда, кому и дом родной заменял. Здесь царил дух трудолюбия и братства. Будущие граждане Советской державы с самой большой протяженностью железных дорог, не способные еще к самой ответственной на транспорте движущей работе, заколачивали костыли, стелили шпалы, свинчивали и развинчивали в тупике гайки, гребли горстями насыпь полотна. «Движенцы» махали флажком, дудели в дудку, помогали тете Гране перебрасывать стрелочный балансир, таскать и устанавливать на путях тормозные башмаки, вели учет железнодорожного инвентаря, мели возле будки землю, летами садили и поливали цветки-ноготки, красные маки и живучие маргаритки. Совсем малых, марающих пеленки и не способных еще к строгой железнодорожной дисциплине и труду, тетя Граня не принимала на работу, не было у нее в будке для них условий.

Муж тети Грани, Чича Мезенцев (откуда, почему взялось такое имя — Сошнин так никогда и не дознался), работал кочегаром при железнодорожном Доме культуры, из кочегарки вылезал на революционные праздники да еще на Рождество, Пасху и Воздвижение, поскольку где-то в воздвиженские сроки у Чичи был день рождения. Тетя Граня работала через сутки по двенадцать часов, с двумя выходными в конце недели, как движенец и, стало быть, ответственный на железной дороге человек. Она уносила мужу в кочегарку на сутки еду и неизменно поллитра водки.

По городу Вейску ходил анекдот, пущенный опять же Лаврей-казаком: будто Чича до того закочегарился, что спутал зиму с летом. К нему в жаркое подземелье спустилась заполоханная делегация самодеятельного местного балета: «Чича! Туды-т-твою, растуды! Какой месяц на дворе?» — «Хвевраль, навроде...» — «Да июнь, конец июня! А ты жарись и жарись! Аж партнерши из рук высклизают».

Леня, как и все парни желдорпоселка, готовился в машинисты, ел с братвой печеную картошку, «горькие яблоки», то есть лук с солью, пил дешевый малиновый чай прямо из горлышка тети Граниного медного чайника — ему нравилось нить из чайника, и доселе с той привычкой — пить чай из рожка — он не расставался, что также приводило к конфликтам в семье.

Однажды остыли батареи в железнодорожном Доме культуры, и труба, коптившая небо и парк культуры и отдыха, что был по соседству с ним, резко обозначилась на фоне известкой беленной тыльной стены Дома культуры, стыдно обнажилась задняя часть помещения, будто изработанная костлявая женщина разболелась на сочинском курортном берегу. Что-то

неладное сделалось в округе, какая-то привычная деталь выпала из пейзажа города Вейска. Дым над трубой истончился и наконец перестал сочиться совсем, иссяк Чича — пал на «боевом посту», как писалось в железнодорожной газете «Сталинская путевка», в заметке «Беззаветный труженик». Из заметки люди узнали, что был когда-то Чича красным партизаном, имел боевой орден и трудовой значок отличия «Ударнику труда», заработанный в кочегарке.

После похорон Чичи тетя Граня какое-то время пребывала в полусне, ходила медленно, в грязных спецодежных ботинках, глаза свои яркие, черные, в которых даже зрачков не было видно, затеняла деревенским платочком, надеваемым, наперекор железнодорожным правилам, даже на работе. Машинисты, составители поездов, сцепщики и кондукторы, уважая человеческую скорбь, не указывали ей на нарушение.

Но не ходит беда одна. С катящейся по маневровой горке платформы вылетела плохо закрепленная горбылина и ударила тетю Граню по голове. Слышал бы тот разгильдяй и пьяница, что неряшливо закрутил проволоку, крепя пиломатериал на платформе, детский крик в закоулке станции Вейск, видел бы, как артелька малышей детсадовского возраста пыталась стащить с рельсов окровавленную женщину, — он бы всю жизнь замаливал грехи, сам справлял бы дело как следует и другим наказал бы работать ладом.

Тетя Граня вышла из больницы, по-куричьи косо держа голову, зрение у нее «сяло и двоилось», для работы на железной дороге, тем более самой ответственной, движенческой, она сделалась негодной.

На сбережения, оставшиеся от мужа, который никуда и ни на что свою зарплату не расходовал, купила тетя Граня в железнодорожном поселке маленький домик с пристройкой во дворе. Домик стоял сразу же за тупиком, возле которого работала когда-то тетя Граня и давно уж его подсмотрела у станционного плотника, мечтавшего податься на золотые прииски аж в Магадан.

В доме тети Грани скоро появилась живность: подрезанная на путях собака Варька, ворона с перебитым крылом — Марфа, петух с выбитым глазом — Ундер, бесхвостая кошка Улька. Перед самой войной тетя Граня привезла в вагоне из родной вятской деревни нетель и попросила племянника, сочинявшего стишки подзаборного и походного свойства, и его приятелей придумать название симпатичной скотине. Ничего путного шпана железнодорожного поселка придумать не могла, одни только неприличные прозвища лезли ей в голову, и осталась нетель с именем родного села — Варакушкой, с ним в коровы перешла да и век свой достопамятный изжила.

В войну тетя Граня жила коровой. С утра до вечера она таскала с лесопилки в узлом завязанном куске холстины желтые опилки на подстилку корове, жала бурьян по обочинам дороги и траву по берегам реки Вейки. Нигде никакого покоса у нее не было, и все-таки она запасала сена на всю зиму. Варакушка ее всегда доилась отменно, была ласковой, все понимающей, можно сказать, патристической коровой. Большую часть удоя тетя Граня уносила в ближайший госпиталь — раненым, поила молоком ребятишек, теперь уж не в будке, а в домике ее все так же густо обретающихся. Брали у тети Грани молоко соседи — железнодорожники, а также эвакуированные. На вырученные за молоко деньги тетя Граня выкупала по карточкам хлеб и молотильный сбой или мякину в ближнем колхозе — для поила корове. Теляток от Варакушки, дорастив до того, чтоб можно было отнять их от матери, тетя Граня за веревочку уводила в госпиталь. После войны и ликвидации госпиталя она какое-то время носила молоко в железнодорожную больницу, после и корову туда отвела — начали

сдавать ноги, раздуло суставы на руках, силы покидали тетю Граню, и самое ее увезли в железнодорожную больницу. Чуть там отлежавшись, тетя Граня принялась мыть туалеты и коридоры, латать и гладить больничное белье — и осталась нянкой в детском отделении больницы. Когда и кому продала она свой домик возле тупика или его сломали, расширяя маневровую площадь станции, Леонид не знал, он в ту пору работал в Хайловске, увлекся службой, спортом, женщиной, да и подзабыл про тетю Граню.

Глава вторая

Однажды, это уж после возвращения из Хайловска, Сошнин дежурил с нарядом ЛОМа — линейной милиции — за железнодорожным мостом, где шло массовое гулянье по случаю Дня железнодорожника. Скошенные загородные луга, пожелтевшие ивняки, побагровелые черемухи да кустарники, уютно опушившие старицу Вейки, во дни гуляний, или, как их тут именовали — «питников» (надо понимать — пикников), загаживали, прибрежные кустарники, ближние деревья сжигали в кострах. Иногда, от возбуждения мысли, подпаливали стога сена и радовались большому пламени, разбрасывали банки, тряпки, набивали стекла, сорили бумагой, обертками фольги, полиэтилена — привычные картины культурно-массового разгула на «лоне природы».

Дежурство выдалось не очень хлопотное. Против других веселящихся отрядов, скажем, металлургов или шахтеров, железнодорожники, издавна знающие высокую себе цену, вели себя степенней, гуляли семейно, если кто задибался из захожих, помогали его уgomонить и спрятать от милиции, чтоб не увезли в вытрезвитель.

Глядь-поглядь, от ближнего озера, из кустов идет женщина в драном ситцевом платье, косынку за угол по отаве тащит, волосья у нее сбиты, растрепаны, чулки упали на щиколотки, парусиновые туфли в грязи, да и сама женщина, чем-то очень и очень знакомая, вся в зеленовато-грязной тине.

— Тетя Граня! — бросился навстречу женщине Леонид. — Тетя Граня? Что с тобой?

Тетя Граня рухнула наземь, обхватила Леонида за сапоги:

— Ой, страм! Ой, страм! Ой, страм-то какой!..

— Да что такое? Что? — уже догадываясь, в чем дело, но не желая этому верить, тряс тетю Граню Сошнин.

Тетя Граня села на отаву, огляделась, подобрала платье на груди, потянула чулок на колено и, глядя в сторону, уже без рева, с давним согласием на страдание, тускло произнесла:

— Да вот... снасиловали за что-то...

— Кто? Где? — оторопело, шепотом — сломался, куда-то делся голос, — переспрашивал Сошнин. — Кто? Где? — И закачался, застонал, сорвался, побежал к кустам, на бегу расстегивая кобуру. — Пере-стр-р-реля-а-а-аю-у-у!

Напарник по патрулю догнал Леонида, с трудом выдрал из его руки пистолет, который он никак не мог взвести срывающимися пальцами.

— Ты что? Ты что-о-о?!

Четверо молодцов спали накрест в размичканной грязи заросшей старицы, среди ломаных и

растоптанных кустов смородины, на которых чернели недоосыпавшиеся в затени, спелые ягоды, так похожие на глаза тети Грани. Втоптаный в грязь, синел каемкой носовой платок тети Грани — она и тетя Лина еще с деревенской юности обвязывали платочки крючком, всегда одинаковой синенькой каемочкой.

Четверо молодцов не могли потом вспомнить, где были, с кем пили, что делали? Все четверо плакали в голос на следствии, просили их простить, все четверо рыдали, когда судья железнодорожного района Бекетова — справедливая баба, особенно суровая к насильникам и грабителям, потому как под оккупацией в Белоруссии еще дитем насмотрелась и натерпелась от разгула иноземных насильников и грабителей, — ввалила всем четверым сладострастникам по восемь лет строгого режима.

После суда тетя Граня куда-то запропала, видно, и на улицу-то стыдилась выходить.

Леонид отыскал ее в больнице.

Живет в сторожке. Беленько тут, уютно, как в той незабвенной стрелочной будке. Посуда, чайничек, занавески, цветок «ванька мокрый» алел на окне, геранька догорала. Не пригласила тетя Граня Леонида пройти

к столу, точнее, к большой тумбочке, сидела, поджав губы, глядя в пол, бледная, осунувшаяся, ладошки меж колен.

— Неладно мы с тобой, Леонид, сделали, — наконец подняла она свои, не к месту и не к разу так ярко светящиеся глаза, и он подобрался, замер в себе — полным именем она называла его только в минуты строгого и непрощающего отчуждения, а так-то он всю жизнь для нее — Леня.

— Чего неладно?

— Молодые жизни погубили... Такие срока им не выдержать. Выдержат — уж седыми мушшьями сделаются... А у их, у двоих-то, у Генки и у Васьки, — дети... Один-от у Генки уж после суда родился...

— Те-о-отя Граня! Те-о-о-отя Граня! Они надругались над тобой... Над-ру-га-лись! Над сединами над твоими...

— Ну дак че теперь? Убыло меня? Ну, поревела бы... Обидно, конечно. Да разве мне привыкать? Чича, бывало, свалит в кочегарке... Ты извини, что про такое говорю. Ты уж большой. Милиционером служишь, всякого сраму по норки нахлебался и нанюхался небось... Чиче не дашься — физкультуру делает. Схватит лопату и ну меня вокруг кочегарки гонять... Эти поганцы... обмуслякали, в грязи изваляли... отстиралась бы...

И стали они избегать, бояться друг друга. Но как избежишь-то насовсем в таком городке, как Вейск? Здесь жизнь идет по кругу, по тесному. Задолго еще до того, как увидеть друг друга, они чувствовали неизбежность встречи. Внутри Леонида не то чтобы все обрывалось, в нем все скатывалось в одну кучу, в одно место, останавливалось под грудью, в тесном разлобье, он еще задаль расплывался в улыбке и, чувствуя ее неуместность и нелепость, не в силах был совладать со своим ртом, убрать улыбку с лица, сомкнуть губы — она была и защитной маской, и оправдательным документом, приклеенным к лицу, словно инвентарная печать, приляпанная ляписом на задку казенных подштанников. Поймав его взгляд, тетя Граня опускала глаза и бочком, бочком проскальзывала мимо, в сером старом железнодорожном берете, с невылинявшей отметкой ключа и молота, в старой железнодорожной шинели, в стоптанных башмаках. Все это, догадывался Леонид, тете Гране отдавали донашивать подружки и товарки,

которые из больницы отправлялись туда, где не нужна форменная одежда — туда еще не проложены рельсы.

— Доброе утро! — хоть утром, хоть днем, хоть вечером роняла тетя Граня на ходу.

Сошнин чувствовал, что если б не природная деликатность, тетя Граня не поздоровалась бы с ним вовсе. И всякий раз, пришибленный, как гвоздь, по шляпку вбитый в тротуар, с резиновой улыбкой на лице, он хотел и не мог побежать следом за тетей Граней, и кричать, кричать на весь народ: «Тетя Граня! Прости меня! Прости нас!..»

«Доброе утречко! Здоровеньки были!» — вместо этого выдавал он шутливо, работая под Тарапуньку со Штепселем, ненавидя себя в те минуты и украинских неунывающих юмористов, всех эстрадных словоблудов, весь юмор, всю сатиру, литературу, слова, службу, свет белый и все на этом свете...

Он понимал, что среди прочих непостижимых вещей и явлений ему предстоит постигнуть малодоступную, до конца никем еще не понятую и никем не объясненную штуковину, так называемый русский характер, приближенно к литературе и возвышенно говоря, русскую душу... И начинать придется с самых близких людей, от которых он почему-то так незаметно отдалился, всех потерял: тетю Лину и тетю Граню, собственную жену с дочерью, друзей по училищу, приятелей по школе... И надо будет прежде всего себе доказать и выявить на белой бумаге, а на ней все видно, как в прозрачной ключевой воде, обнажиться до кожи, до неуклюжих мослаков, до тайных неприглядных мест, доскребаясь умишком до подсознания, которое, догадываться начал Сошнин, и движет творчеством, оно и есть его главный секрет. Как это трудно! И сколько мужества и силы надо, чтобы «мыслить и страдать», все время, всю жизнь, без перекура и отпуска, до последнего вздоха. Может быть, объяснит он в конце концов хотя бы самому себе: отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равнодушны к себе, к соседу — инвалиду войны и труда? Готовы последний кусок отдать осужденному, костолому и кровопускателю, отобрать у милиции злостного, только что бушевавшего хулигана, коему заломили руки, и ненавидеть соквартиранта за то, что он забывает выключить свет в туалете, дойти в битве за свет до той степени неприязни, что могут не подать воды больному, не торкнуться в его комнату...

Вольно, куражливо, удобно живется преступнику среди такого добросердечного народа, и давно ему так в России живется.

Добрый молодец, двадцати двух лет от роду, откушав в молодежном кафе горячительного, пошел гулять по улице и заколол мимоходом трех человек. Сошнин патрулировал в тот день по Центральному району, попал на горячий след убийцы, погнался следом на дежурной машине, торопя шофера. Но молодец-мясник ни убежать, ни прятаться и не собирался — стоит себе у кинотеатра «Октябрь» и лижет мороженое — охлаждается после горячей работы. В спортивной курточке канареечного или, скорее, попугайного цвета, красные полосы на груди. «Кровь! — догадался Сошнин. — Руки вытер о куртку, нож под замочек на груди спрятал». Граждане шарахались, обходили измазавшего себя человеческой кровью «артиста». Он с презрительной усмешкой на устах долижет мороженое, культурно отдохнет — стаканчик уже в наклон, деревянной лопаточкой заскребаает сладость — и по выбору или без выбора — как душа велит — зарежет еще кого-нибудь.

Спиной к улице на пестром железном перильце сидели два кореша и тоже питались мороженым. Сладкоежки о чем-то перевозбужденно переговаривались, хохотали, задирали прохожих, вязались к девчонкам, и по тому, как дрыгались куртки на спинах, катались бомбошки на спор тивных шапочках, угадывалось, как они беспечно настроены. Мяснику уже

все нипочем, брать его надо сразу намертво, ударить так, чтоб, падая, он ушибся затылком о стену: если начнешь крутить среди толпы — он или дружки его всадят нож в спину. На ходу выскочив из машины, Сошнин перепрыгнул через перила, оглушил о стену «кенаря», шофер за воротники опрокинул двух весельчаков с перилец, придавил к сточной канаве. Тут и помощь подоспела — поволокла милиция бандитов куда надо. Граждане в ропот, сгрудились, сбились в кучу, милицию в кольцо взяли, кроют почему зря, не давая обижать «бедных мальчиков». «Что делают! Что делают, гады, а?!» — трясся в просторном пиджаке выветренный до костей человек, в бессилии стуча инвалидной тростью по тротуару: «Н-ну, легавые! Н-ну, милиция! Эко она нас бережет!..». «И это середь бела дня, середь народа! А попади к им туда-а...» «Такой мальчик! Кудрявый мальчик! А он его, зверюга, головой об стену...»

Сошнин «тер к носу», но потрясенный шофер, недавно работающий в милиции, не выдержал: «Попались бы вы этому кудрявому мальчику! Он бы вам запросто укоротил и языки, и жизнь...»

В отделении как раз красил стены давно уже вышедший на заслуженный отдых, но от нужды прирабатывающий к пенсии бывший командир отделения морских пехотинцев, переколовший ножом фашистов больше, чем его дед, поморский рыбак, острогою рыбы.

«За что ты убил людей, змееныш?» — усталым голосом спросил он «кенаря».

«А хари не понравились!» — беспечно улыбнулся тот ему в ответ.

Старый вояка не выдержал, схватил убийцу за горло, свалил на пол. Едва отобрали добра молодца, который вопил на целый квартал: «Бо-о-ольно! Не имеешь право! О-о-ой, отпусти! Отпусти-ы-ы!» — и потом невинно лупил глаза на следователя: «Неужели меня расстреляют? Вышка?! Я ж не хотел...»

Глава третья

«Но все-все! На сегодня хватит!» — отмахнулся Сошнин от навязчивых и всегда в худую погоду длинных и мрачных воспоминаний. В предчувствии избяного тепла он поежился, передернул плечами, словно бы стряхивая мокро и прах от дум своих, погладил себя по лицу рукой и прибавил шагу. У него хотя и было в квартире паровое отопление, но плита тоже осталась от доисторических времен. Хорошее, доброе сооружение — плита. Он ее подтапливал дровишками, которые ему по старой дружбе осенью сваливал с телеги у дровяника Лавря-казак. «Сей час растопим печку, супчику спроворим, чайку покрепче заварим — Бог с ней, с житухой этой неловкой, с погодой гадкой, с проклятой болью в плече. Жизнь, она все-таки, в общем-то, ничего. В ней то клюет, то не клюет...» Сошнин улыбнулся, вновь увидев наяву дядю Пашу с метлой во дворе, с достоинством топающую домой лошадку Лаври-казака, даже мотивчик засвистел из фильма «Следствие ведут знатоки» и промурлыкал выразительнейший текст популярной не только среди милиции, но и среди гражданского населения песни: «Если что-то, где-то, почему-то, у кого-то...» — чем, видимо, и раздражил компанию из трех человек, расположившуюся в их доме, под лестницей, пить вино, поставив бутылку на отопительную батарею. «И что они все троиками-то? Чем объяснить активность этого числа?»

Из новых жилищ, со станции — в укромный уголок, под прелую лестницу старого, доброго дома номер семь зачастили любители побеседовать. Свинячили под лестницей, блевали, дрались, иные и спали здесь, прижавшись к ржавой батарее, сочащейся тихим паром, отчего подгнил и подоконник, и пол под батареей. Одного из троих Сошнин вспомнил — бывший игрок футбольной команды «Локомотив», сперва местной, потом столичной. Когда столичный «Локомотив», потерпев крушение, ахнулся в первую лигу, земляк явился доигрывать спортивную карьеру в родном городе. Соседи, в первую голову бабка Тутышиха, ныли: «Леш,

наведи ты порядок под лестницей. Разгони кирюшников. Житья нету!»

Но ему поднадоело на службе возиться со всякой швалью, устал он от нее, да и психовать, нарываться на нож или на драку не хотелось — донарывался. Однако все равно придется разгонять пьянчуг — народ требует. «Но на сегодня мне хватит впечатлений», — решил Леонид, да и вспомнились к месту слова знакомого тюремного парикмахера: «Усю шпану не перебреешь». И когда, приподняв изуродованную ногу, опираясь на перила свободной рукой, с детства натренированно взлетел он сразу на пол-лестницы и услышал из-под лестницы: «Эй, ты, соловей! Хиль Эдуард! Кто здороваться будет?» — «Ничего не вижу, ничего не слышу», — продекламировал себе и, приволакивая ногу, двинулся дальше, выше, в жилье, в свой спасительный угол. Но едва сделал шаг или два, как услышал за собой погоню: старые ступени родного дома он различал по голосам, как пианист-виртуоз — свой редкостный рояль.

Ступени звучали напористо и расстроено — услышал он ушами, почувствовал спиной, а спина у настоящего милиционера должна быть, что у детдомовца, очень чуткая и с «глазами».

Его обогнал и заступил дорогу домой парень с роскошной смоляной шевелюрой, в распахнутом полушубке с гуцульским орнаментом по подолу, бортам и обшлагам.

— Тебя спрашиваю, физкультурник: кто здороваться будет?

Кавалер в дубленке, с красными прожилками в вялых глазах — предосенняя ягода, от нехватки солнца плесневеющая в недозрелом виде, — переваливал во рту жвачку, локтем навалившись на перила. Лестница в доме номер семь рассчитана не на крестный ход, на малый и нежирный народ она рассчитана. Когда хоронили тетю Лину — поднимали гроб над изрезанными складниками перильцами так высоко, что покойница едва не чертила остреньким носом по прогнувшейся вагонке потолочного перекрытия. Леонид поморщился от боли в ноге, от душу рвущего видения, так некстати его настигающего.

— Здравствуйте, здравствуйте, орлы боевые! — согласно и даже чуть заискивающе произнес Сошнин, по практике ведая, что таким-то вот тоном как раз и не надо было разговаривать с воинственно настроенными гостями. Но так устала и ныла нога, так хотелось домой, остаться одному, поесть, полежать, подумать, может, плечо отпустит, может, душа перестанет скулить...

— Какие мы тебе орлы? — суровым взглядом уперся в него и выплюнул жвачку под лестницу парень. — Ты почему грубишь? — Он распахнул модную дубленку, сделался шире, разъемистой.

«Интересно, где он отхватил такой шабур? Вроде бы женский? Дорогой небось?» — не давая себе завестись, отвлекался Сошнин.

— А ну, сейчас же извинись, скотина! — выступил из-под лестницы футболист. — Совсем разбаловался! Людей не замечаешь!

За футболистом с блуждающей улыбкой стоял мужик не мужик, подросток не подросток, по лицу — старик, по фигурке — подросток. Матерью не доношенный, жизнью, детсадом и школой недоразвитый, но уже порочный, в голубом шарфике, и сам весь голубенький, бескровный, внешне совсем не похожий на только что вспомнившегося «кенаря» и все же чем-то неуловимо напоминающий того убийцу, рыбьим ли прикусом губ, ощущением ли бездумной и оттого особенно страшной, мстительной власти. Он — по синюшному лицу и по синюшной стриженной голове определил Сошнин, только что с «режима». Давно не вольничал, давно не пил недоносочек, захмелел раньше и больше напарников. Барачного производства малый, плохо в детстве кормленный, слабосильный, но, судя по судачьему прикусу сморщенного широкого

рта, до потери сознания психопаточный. За пазухой у него ножик. Не переставая плыть в бескровной, рыбьей улыбке, он непроизвольно сунул одну руку в карман куртки, другой нервно, в предчувствии крови, теребил шарф. Самый это опасный тип среди трех вольных гуляк.

«Спокойно! — сказал себе Сошнин. — Спокойно! Дело пахнет кероси-и-ином...»

— Ну что ж, извините, парни, если чем-то вас прогневил.

— Что это за «ну что ж»? — Кавалер с бакенбардами, в гуцульском бабьем полушубке напоминал Сошнину обильным волосом, барственной усмешечкой избалованного харчем, публикой, танцорками певца из модернового варьете. Умственно и сексуально переразвитые девки бацали в том «варьете» в последней стадии одевания — одни в гультиках, другие в колготках, — да и это связывало их творческие возможности, и не будь суровых наших нравственных установок, они и это все поскидывали бы и еще выше задирали бы лосиные, длинные ноги, изображая патриотический танец под названием: «Наш подарок БАМу». Певец же «мужественным» басом расслабленно завывал в лад их телодвижениям: «Ты-ы, м-мая мэл-ло-о-о-одия-а-а-а...»

С ног до головы излаженный под боготворимого среди недоумков солиста, кавалер на лестнице хотел острых ощущений, остальное все у него было для удовольствия жизни. За шикарной прической — оскорбительный плагиат с гусара-героя и поэта Давыдова; в модном полушубке с грязными орнаментами, в как бы понарошке мятых вельветовых штанах с вызывающе светящейся оловянной пуговицей почти на пупе, в засаленном мохеровом шарфике, в грязновато-алой водолазке, оттеняющей шею, покрытую как бы выветренной берестой — во всем, во всем уже была не то чтобы слишком ранняя, как говорил поэт, усталость, непромытость была, затасканность. «Вот с запушшения лица все и начинается», — вспомнился начальник Хайловского РОВД, Алексей Демидович Ахлюстин, добрейшей души человек, неизвестно, когда, как и почему попавший на работу в милицию.

— Извиняйся как следует: четко, отрывисто, внятно!

«Испортить эту экзотическую харю, что ли? — подумал Сошнин. — В сетке бутылка с молоком, банка с компотом... Око за око, зуб за зуб, подлость на подлость, да? Да! Да! Однако далеко мы так зайдем... И молоко жалко на этакую погань тратить. И цыпушку жалко, она, бедная, и так воли не видела, не оформилось ее молодое инкубаторское тело до плотской жизни — и этакой-то невинной птичкой да по такой развратной роже!..»

Сошнину удалось отвлечься, он унял в себе занимающуюся дрожь, стоял вполоборота, чтоб парня видеть, если бросится, и тех, внизу, из поля зрения не выпускать, ждал, что будет дальше. Более других его занимал футболист: во-первых, ему за тридцать, пора, как говорится, и мужчиною стать; во-вторых, он должен знать Сошнина. Но футболист и отроду-то мало памятлив, по случаю возвращения в родную команду записался и родимой матушки, видать, не узнавал, может, видел Сошнина в форме — милицейская же форма шибко меняет человека и отношение к нему.

Лишь краткое замешательство потревожило налитый злобой взгляд футболиста, так и не простившего человечество за то, что «Локомотив» вышибли в «перволижники», на окраину Москвы, в Черкизово, где, несмотря на уютный стадиончик, бывает болельщиков от одной тысячи и до двухсот душ, прячущихся с выпивкой на просторных трибунах, отсюда тебе и навар, и наградные, и слава, и почет. Да еще это неблагоприятное в футболе ремесло — «защитник»! Из лексикона лагерных языкотворцев ему скорее подходило: стопор-стопорило,

кайло-рубилу, секач, колун, обух, но лучше всего — пихальщик, который не пускал к воротам честных, смелых ребят — нападающих, бил их бутсой в кость, стягивал с них трусы и майки, валил наземь, получая лютое удовольствие от вопля поверженного «противника».

— Да-да! — поторопил футболист-пихальщик, косым, грузным взглядом давя «противника». — Не лезь в офсайд! Не то получишь гол в рыло!

— Может, его на этом модном галстуке повесить? — посоветовался с собутыльниками «кавалер» и, зацепив пальцем, брезгливо выбросил галстук Сошнина наружу, меж съезженных бортов поношенного форменного плаща. На фоне дряхлой лестницы, в посерелой, исцарапанной известке стен дома с обнажившимися лучинками и гвоздями и галстук, и обладатель его выглядели нелепо, так смотрелся бы здесь, в трудовом этом жилище, золотой канделябр из роскошного Петродворца.

— А может, не надо, парни? — запихивая лаковый галстук обратно под плащ пальцами, начавшими дрожать, произнес Сошнин все еще сдержанным, даже чуть просящим голосом.

— Чего не надо?

— Куражиться. — Сошнин увидел, как, отметая лохмами обивки сор, пыль и окурки, приоткрылась справа по спуску лестницы дверь, в нее высунулся круглый нос и засветился круглый глаз бабки Тутышихи. Сошнин вытаращил глаза, и бабка поспешно прикрыла дверь.

— Чего ты сказал? Чего ты сказал? — Футболист-пихальщик, распаляясь от праведного гнева, двинулся вверх по лестнице. — Пеночник! Офсайдник! Я те...

Недавний зэк все плыл в улыбке, но уже расторможенной, с поводка спущенной, сожалеюще качая головой: «Сам виноват. Чего тебе стоило попросить прощенья?» Одной рукой он перебирал по барьеру, тащась за футболистом, почти его заслонившим, другой ловил язычок у нагрудного замочка, чтоб вынуть ножик.

«Откуда это в них? Откуда? Ведь все трое вроде из нашего поселка. Из трудовых семей. Все трое ходили в садики пели: „С голубого ручейка начинается река, ну, а дружба начинается с улыбки...“. В школе: „Счастье — это радостный полет! Счастье — это дружеский привет... Счастье...“ В вузе или в ПТУ: „Друг всегда уступить готов место в шляпке и круг...“ Втроем на одного, в общем-то, в добром, в древнем, никогда не знавшем войн и набегов русском городе...»

— Стойте, парни! — властно скомандовал Сошнин. Бабка Тутышиха опять высунулась в дверь, и он снова вытаращился на нее. Чуткий к опасностям урка мгновенно обернулся, но ничего пугающего не заметил — бабка успела притворить дверь. Тем временем Леонид повесил сетку на выступ бруса и стал спиной к нему так, чтоб видно было нападающих и внизу, иверху.

— Ах вы, добры молодцы! Трое на одного! Да еще на хромого! Былинные храбрецы! Илья Муромец, Микула Селянинович да Алеша Попович... Давайте по-былинному силу расходовать.

— Как это?

— На работе.

— На какой?

— Тротуары чистить.

— Издеваешься, гад! — взревел модник и бросился сверху на жертву лохматым зверем.

Сошнин чуть прогнулся и перебросил парня через себя с таким расчетом, чтобы он смел с лестницы собутыльников, но тот уронил лишь рахитного от рождения урку. Футболист устоял на ногах, однако был ошеломлен. Не давая гулякам опомниться, Леонид прыжком миновал футболиста, двумя ударами свалил модника на грязный пол, отбросил урку к батарее, уже не владея собой: микстуры, уколы, антибиотики, разные всякие идиотики, изматывающие дежурства, погони, схватки, ночное литтворчество сказались, раны сказались, чужая, в него влитая кровь сказала, Сыроквасова эта...

Задавленно хрипя, он вогнал кулаками футболиста под лестницу, размазывал его по стене.

— Вступайтесь за друга, подонки! Вступайтесь же за друга!

— Какой он нам друг! Какой друг! — прячась за спину урки, твердил кавалер и, что-то вспомнив, толкнул урку в спину, по-бараньи заблажив: — Геха, режь! Насмерть режь!

Геха послушно сунул руку за пазуху, но вынуть нож ему Сошнин не дал: коротким ударом в сплетение вышиб из него дых и, когда урка, охнув, согнулся, поддел его встречным, отправив к заплеванному, мутному окну. Урка ударился головой о батарею, запищал что-то, как крашеный праздничный шарик, из которого пошел воздух, и, как шарик же, смялся, усох, свернулся синим комочком на полу.

Футболист не оказывал никакого сопротивления. Бить его было неинтересно, но Сошнин так освирепел, что остановиться уже не мог, и то ли притворившегося, то ли в самом деле вырубившегося футболиста кинул к батарее, в кучу с уркой, а сам шарил глазами, что-то рыча. Модник ослаб, раскинув руки и вылупив глаза, сидел на полу, вжимался в угол, в дерево, в пазы, забитые грязной, остистой паклей.

— Не буду... не буду... Дяденька! Дя-а-аденька! — визжал кавалер, закрываясь рукавом лопнувшего под мышкой полушубка. Обнажилась сиреневого цвета овчина, от носки или для моды этак крашенная, и овчинка эта, словно бы снятая с игрушечного медвежонка, внезапно заставила Сошнина опомниться. Он продохнул раз, потом еще раз, с удивлением поглядел на распустившего кровавые слюни молодца, вынул его из угла, будто мышонка из мышеловки, за воротник полушубка, подтащил к выходу и пинком вышиб на улицу с деревянного, бороздкой протоптанного крылечка.

— Появись еще раз, поганка!

Долго потом стоял Леонид возле лестницы, не зная, куда себя девать, что делать? Бабка Тутышиха снова приоткрыла дверь:

— Давно бы так! А то ходют...

— Тебя тут только и не хватало!

Провал, затемнение — все же болен он еще и слаб. Нервами. Смятение в душе, неустройство, и срамцы эти еще на рожон лезут...

Вспомнив про сетку, Леонид вышел на лестницу. Сетка висела на месте. Перегнувшись, заглянул вниз. Под батареей темнела лужа воды, может, и крови, блестело что-то, догадался — нож. Спустился, подобрал тупой, под кинжал излаженный тесак, которым бабушка или кто

еще из старших родичей урки щепали лучину, рубили проволоку, — настоящий фонарь урка не успел еще выточить или тайком купить.

Возвратившись в квартиру, нашел заделье — позвонил в железнодорожное отделение милиции. Дежурил Федя Лебеда, сокурник по спецшколе и напарник по работе, бывшей работе.

— Федя, я тут дрался. Одному герою башку об батарею расколос. Если че, не искали чтоб. Злодей — я.

— Ты с ума сошел?!

— Их надо было побить, Федя.

— Надо... надо... Как не надо? Да за них, за поганцев, затаскают.

Сошнин повесил трубку. Посмотрел на руки. Руки все еще дрожали. Козонки сбиты. Стал мыть руки под краном и ровно бы задремал над раковиной. Чувство усталой, безысходной тоски навалилось на него — с ним всегда так, с детства: при обиде, несправедливости, после вспышки ярости, душевного потрясения, не боль, не возмущение, а пронзительная, все подавляющая тоска овладевала им. Все же по природе своей он мямля, да еще бабами воспитанный. Ему бы не в милиции трудиться, а, как матери и тетке, в конторе сидеть, квитанции под шивать и накладные выписывать, если уж в милиции, то на месте дяди Паши — территорию мести.

А кто рожден для милиции, для воинского дела? Не будь зла в миру и людей, его производящих, ни те, ни другие не понадобились бы. Веки вечные вся милиция, полиция, таможенники и прочая, прочая существуют человеческим недоразумением. По здравому разуму уже давно на земле не должно быть ни оружия, ни военных людей, ни насилия. Наличие их уже просто опасно для жизни, лишено всякого здравого смысла. А между тем чудовищное оружие достигло катастрофического количества, и военная людь во всем мире не убывает, а прибывает, но ведь предназначение и тех, что надели военную форму, военный мундир, было, как и у всех людей, — рожать, пахать, сеять, жать, создавать. Однако выродок ворует, убивает, мухлюет, и против зла поворачивается сила, которую доброй тоже не назовешь, потому как добрая сила — только созидающая, творящая. Та, что не сеет и не жнет, но тоже хлебушек жует, да еще и с маслом, да еще и преступников кормит, охраняет, чтоб их не украли, да еще и книжечки пишет, — давно потеряла право называться силой созидательной, как и культура, ее обслуживающая. Сколько книг, фильмов, пьес о преступниках, о борьбе с преступностью, о гулящих бабах и мужиках, злочных местах, тюрьмах, каторгах, дерзких побегах, ловких убийствах... Есть, правда, книга с пророческим названием: «Преступление и наказание». Преступление против мира и добра совершается давно, наказание уже не за горами, никакой милиции его не упредить, всем атомщикам руки не скрутить, в кутузку не пересадить, всех злодеев «не переброешь!». Их много, и они — сила, хорошо защищенная. Беззаконие и закон для некоторых мудрецов размыли дамбу, воссоединились и хлынули единой волной на ошеломленных людей, растерянно и обреченно ждущих своей участи.

Говорят, понять — значит, простить. Но как и кого понять? Кому и чего прощать? Настоящие преступники — не крыночные блудни, не двурушники, что лебезят перед «бугром», кусочничают, считая себя невинно осужденными, тянутся и трясутся перед конвоиром, а ночами точат нож, делают из полиэтиленового мешка насос и, выменяв за пайку старую иглу, вгоняют в себя всякую дурманящую дрянь, курят коноплю до того, чтоб помутился разум, —

нет, не они, а зэк в переходном возрасте, которого видел «на торфе» Сошнин, стронул его с места своей моралью и жизненной программой. Подтянутый, с силенкой в руках и в характере — «вор в законе», «честно» достукивающий срок, что по выходе на свободу тут же приступит к своим основным обязанностям: подламывать магазины, чистить склады и квартиры, завяжется «интересное дело» — косануть выручку, ограбить инкассатора, обобрать богатого фрайера — кто-кто, а вор безработицы не ведаёт, так вот тот воруга открыто издевался над журналисткой из назидательно-воспитательного журнала, которую сопровождал «на торф» Сошнин как человек, имеющий дело «с пером». Словно с луны свалившись, журналистка всему удивлялась и верила особенно восторженно в перевоспитавшихся, осознавших свою вину, устремленных к стерильно чистой и честной будущей жизни. С ними она беседовала «по душам».

— Вот вы, — обратилась она к деловито спокойному, цену себе знающему зэку, — вот вы грабили людей, обворовывали квартиры... Думали ли вы о своих жертвах?

— Начальник! — усмехнулся зэк, обращаясь к Сошнину. — Ты зачем меня обижаешь? Я достоин более тонкого собеседника.

— Но ты все-таки ответь, ответь. А то мы посчитаем, что виляешь.

— Я-а?! Виляю! Еще раз обижаешь, начальник. — И с расстановкой, дожидаясь, чтоб журналистка успела записать объяснения, валил откровенность свою: — Если б я умел думать о жертвах, я б был врачом, агрономом, комбайнером, но не вором! Записали? Та-ак. Дарю вам еще одну ценную мысль: если б не было меня и моей работы, им, — показал он на Сошнина, — и им, им, им, — тыкал он пальцем на сторожевые будки, на Дом культуры, на баню, гараж, на весь поселок, — всем им нечего было бы кушать. Им меня надо беречь пуще своего глаза, молиться, чтоб воровать ненароком не бросил...

С этим все ясно. Этот весь на виду. Его будут перевоспитывать, и он сделает вид, что перевоспитался, но вот как понять пэтэушников, которые недавно разгромили в Вейске приготовленный к сдаче жилой дом? Сами на нем практику проходили, работали, и сами свой труд уничтожили. В Англии, читал Сошнин, громят уже целый город! Неподалеку от задымленного, промышленного Бирмингема был построен город-спутник, в котором легче дышать и жить. И вот его-то громят жители, и кабы только молодые! На вопрос: «Зачем они это делают?» — всюду следует один и тот же ответ: «Не знаю».

Глава четвертая

Сошнин много и жадно читал, без разбора и системы, в школе, затем дошел до того, чего в школах «не проходили», до «Экклезиаста» дошел и, — о, ужас! Если бы узнал замполит областного управления внутренних дел — научился читать по-немецки, добрался до Ницше и еще раз убедился, что, отрицая кого-либо и что-либо, тем более крупного философа, да еще и превосходного поэта, надо непременно его знать и только тогда отрицать или бороться с его идеологией и учением, не вслепую бороться, осязаемо, доказательно. Ведь как говорил русский ученый: «Искать что-либо, хоть теорию относительности, хоть грибы, искать, не пробуя, нельзя». А Ницше-то как раз, может, и грубо, но прямо в глаза лепил правду о природе человеческого зла. Ницше и Достоевский почти достали до гнилой утробы человечки, до того места, где преет, зреет, набирается вони и отращивает клыки спрятавшийся под покровом тонкой человеческой кожи и модных одежд самый жуткий, сам себя пожирающий зверь. А на Руси Великой зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, но звериной, и рождается он чаще всего покорностью, безответственностью, безалаберностью, желанием избранных, точнее, самих себя зачисливших в избранные, жить лучше, сытей ближних своих, выделиться среди них, выщелкнуться, но чаще всего — жить, будто вниз по речке плыть.

Месяц назад, в ноябрьскую уж мокропогодь, привезли на кладбище покойника. Дома, как водится, детки и родичи поплакали об усопшем, выпили крепко — от жалости, на кладбище добавили: сыро, холодно, горько. Пять порожних бутылок было потом обнаружено в могиле. И две полные, с бормотухой, — новая ныне, куражливая мода среди высоко-оплачиваемых трудяг появилась: с форсом, богатенько не только свободное время проводить, но и хоронить — над могилой жечь денежки, желательно пачку, швырять вослед уходящему бутылку с вином — авось похмелиться горемыке на том свете захочется. Бутылок-то скорбящие детки набросали в яму, но вот родителя опустить в земельку забыли. Крышку от гроба спустили, зарыли, забросали скорбную щель в земле, бугорок над нею оформили, кто-то из деток даже повалялся на грязном холмике, поголосил. Навалили пихтовые и жестяные венки, поставили временную пирамидку и поспешили на поминки.

Несколько дней, сколько — никто не помнил, лежал сирота-покойник в бумажных цветочках, в новом костюме, в святом венце на лбу, с зажатым в синих пальцах новеньким платочком. Измыло бедолагу дождем, полную домовину воды нахлестало. Уж когда вороны, рассевшись на деревья вокруг домовины, начали целиться — с какого места начинать сироту, крича при этом «караул», кладбищенский сторож опытным нюхом и слухом уловил неладное.

Это вот что? Все тот же, в умиление всех ввергающий, пространственный русский характер? Или недоразумение, излом природы, нездоровое, негативное явление? Отчего тогда молчали об этом? Почему не от своих учителей, а у Ницше, Достоевского и прочих, давно опочивших товарищей, да и то почти тайком, надо узнавать о природе зла? В школе цветочки по лепесточкам разбирали, пестики, тычинки, кто чего и как опыляет, постигали, на экскурсиях бабочек истребляли, черемухи ломали и нюхали, девушкам песни пели, стихи читали. А он, мошенник, вор, бандит, насильник, садист, где-то вблизи, в чьем-то животе или в каком другом темном месте затаившись, сидел, терпеливо ждал своего часа, явившись на свет, пососал мамкиного теплого молока, поопрастывался в пеленки, походил в детсад, окончил школу, институт, университет ли, стал ученым, инженером, строителем, рабочим. Но все это в нем было не главное, поверху все. Под нейлоновой рубахой и цветными трусиками, под аттестатом зрелости, под бумагами, документами, родительскими и педагогическими наставлениями, под нормами морали ждало и готовилось к действию зло.

И однажды отворилась вьюшка в душной трубе, вылетел из черной сажи на метле веселой бабой-ягой или юрким бесом диавол в человеческом облике и принялся горами ворочать. Имай его теперь милиция, беса-то, — созрел он для преступлений и борьбы с добрыми людьми, вяжи, отымай у него водку, нож и волю вольную, а он уж по небу на метле мчится, чего хочет, то и вытворяет. Ты, если даже в милиции служишь, весь правилами и параграфами опутан, на пуговицы застегнут, стянут, ограничен в действиях. Руку к козырьку: «Прошу вас! Ваши документы». Он на тебя поток блевотины или нож из-за пазухи — для него ни норм, ни морали: он сам себе подарил свободу действий, сам себе мораль соорудил и даже про себя хвастливо-слезливые песни сочинил: «О-пя-ать по пя-а-а-атни-цам па-айдут свида-а-ания, тюрь-ма Таганская — р-ря-адимай до-о-о-ом...»

В Японии, читал Сошнин, полицейские сперва свалят бушующего пьяного человека, наручники на него наденут, после уж толковище с ним разводят. Да город-то Вейск находится совсем в другом конце Земли, в Японии солнце всходит, в Вейской стороне заходит, там сегодня плюс восемнадцать, зимние овощи на грядках зеленеют, здесь минус два и дождище льет, вроде бы целый век не переставая.

Сошнин помочил голову под краном, потрянул мокром во все стороны — некому запрещать мокретью брызгать — тоже полная свобода! Закрыл кран, поставил кастрюлю с курицей на плиту, пригладил себя руками по голове, будто пожалел, вытянулся на диване, уставился в

потолок. Тоска не отпускала. И боль терзала плечо, ногу. «Могли ведь и поуродовать, добить, засунуть под лестницу... Такие все могут...»

Патрулировали Сошнин с Федей Лебедой по городу, и бог дал угонщика. Пьяный, как потом выяснилось, только что с Крайнего Севера прибывший с толстой денежной сумой «орел» нажрался с радости, подвигов захотелось — и увел самосвал. Возле вокзала, на вираже вокруг клумбы, будь она неладна, — на площади срубили тополя, по новой моде закруглили клумбу, воткнули в центре пяток ливанских елей, навалили бурых булыжин, посадили цветочки, и сколько уж из-за нее, из-за этой, вейскими дизайнерами созданной эстетики, народу пострадало: не удержал машину угонщик, зацепил остановку, двух человек изувечил, одного об будку убил и, вконец ошалев, запаниковал, ослеп, помчался по центральной улице, на светофоры, в мясо разбил на перекрестке молодую мать с ребенком.

Угонщика преследовали всей милицией, общественным транспортом, «отжимали» от центра города на боковые улицы, в деревянную глушь, надеясь, что, может, врежется в какой забор. На хвосте угонщика висели Сошнин и Федя Лебеда, загнали было дикую машину во двор, угонщик заметался по песочному квадрату, в щепу разнес детскую площадку — хорошо, детей не было в тот час во дворе. Но уже на выезде сшиб двух под руку гулявших старушек. Будто бабочки-боярышницы, взлетели дряхлые старушки в воздух и сложили легкие крылышки на тротуаре.

Сошнин — старший по патрулю — решил застрелить преступника.

Легко сказать — застрелить! Но как это трудно сделать. Стрелять-то ведь надо в живого человека! Мы запросто произносим, по любому случаю: «Так бы и убил его или ее...» Поди вот и убей на деле-то.

В городе так и не решились стрелять в преступника — народ кругом. Выгнали самосвал за город, все время крича в мегафон: «Граждане, опасность! Граждане! За рулем преступник! Граждане...»

Выскочили на холм, миновали последнюю городскую колонку. Приближалось новое загородное кладбище. Глянули — о, ужас! Возле кладбища сразу четыре похоронные процессии, и в одной процессии черно народу — какую-то местную знаменитость провожают. За кладбищем, в пяти километрах, — крупная строительная площадка, что мог здесь наделать угонщик — подумать страшно. А он совсем обалдел от скорости, жал на загородных просторах за сто километров.

— Стреляй! Стреляй.

Федя Лебеда сидел в люльке мотоцикла, руки у него свободны, да и лучший он стрелок в отделении. Послушно вынув пистолет из кобуры, Федя Лебеда оттянул предохранитель и, словно не поняв, в кого велено стрелять, всадил одну, другую, третью пули в колеса самосвала. Резина задымилась. Машина заприхрамывала, забренчала. Сошнин, закусив губу, надавил до отказа на газ мотоцикла.

Они сближались с машиной. Обошли ее. Федя Лебеда поднял пистолет, но тут же в бессилии опустил руку.

— Останови-и-и-ись! — кричал он. — Остановись, вражина! У новостройки загородят дорогу — там пост!..

По губам угадал Сошнин почти как молитву, творимую напарником, в последней надежде на

бескровное завершение дела.

— А кладбище?! — по губам же угадал и Федя Лебеда ответ Сошнина.

Побелев и в самом деле что писчая бумага, не испорченная графоманами, будто тяжелую гиру, поднимал Федя Лебеда привычный пистолет. Губы шлепали, вытряхивали с мокром:

— Попробовать... Попробовать...

— Некогда! — Сошнин яростно пошел на обгон самосвала.

Угонщик не пустил их по ходу слева. Резким качком бросив мотоцикл в сторону, почти падая, пошли справа. Поравнявшись с кабиной машины, понимая всю безнадежность слов, все равно оба разом заклинали, забыв про мегафон:

— Остановитесь! Остановитесь! Будем стрелять...

Грохочущая колымага ринулась на них, ударила мотоцикл железной подножкой. Сошнин был водителем-асом, но что-то произошло с ним необъяснимое — он ловил и не мог поймать педаль мотоцикла левой ногой. В ушах занялся звон, небо и земля начали багроветь, впереди забежали и куда-то, за какой-то край посыпались люди из похоронных процессий.

— Да стреляй же!

Двумя выстрелами Федя Лебеда убил преступника. Машина с грохотом промчалась еще какое-то расстояние на продырявленных колесах и сунулась носом в кювет. Уже падая с сиденья мотоцикла или вместе с мотоциклом, Сошнин успел увидеть шарикоподшипником выкатившийся из затылка, чуть обросшего, упрямо-тупого затылка кругляшок, еще кругляшок, быстрее, чаще, будто с конвейера покатались, вытянулись в красную нитку, шея, плечи, новая, на Севере, с корабля, видать, купленная куртка, вся в карманах, чем-то туго набитых, быть может, письмами матери, может, и любимой девушки. Был еще значок на куртке. Яркий значок за спасение людей на пожаре. И вот куртка сделалась красной на плечах и на спине, что значок за отличие на пожаре.

Сошнина скрутило судорогой на земле, красное мокро подступило к горлу. Скорезженный, смятый, он лежал затем в машине «скорой помощи», рядом с застреленным угонщиком и слышал, как под носилками по железному полу плещется, скоблит уши их вместе слившаяся кровь.

Опытнейший хирург железнодорожной больницы, уроженец родного железнодорожного поселка, упорно учившийся на тройки при пятерочных способностях, Гришуха Перетягин успел когда-то полностью оформиться в доктора, был сед, медлительно-спокоен и, как показалось Сошнину, несколько и поддатый.

— Нога висит на одной коже и на жиле. Ампутировать или спасти? Как прикажете, гражданин начальник?

— Попробайся, доктор, — взмолился Сошнин и заискивающе добавил: — За мной не пропадет, Гришуха. — Разрешая недоуменный взгляд доктора, еще добавил: — Я ж тоже наш брат-железнодорожник... тети Ленин племяш.

— А-а, — оживился доктор. — Лешка, что ли? А я гляжу, понимаеш... Ну, коли с

железнодорожного, да еще наших, вятских, кровей — и одной жилы достаточно... А я смотрю, вроде как знакомое лицо, понимаешь... — наговаривал Гришуха и делал какие-то знаки сестре и няне. — Дак не пропадет за тобой, говоришь? Заметешь и домой не отпустишь, хе-хе-хе...

Отчего-то Гришуха-хирург не дал Сошнину наркоз. Налили полный стакан чистого спирта. Доктор подождал, когда пациент делается мертвецки пьян, поболтал еще с ним о том, о сем и приступил к делу. Во время операции Сошнину поднесли еще мензурочку. Онпил спирт, будто воду, очень холодную, родниковую. С непривычки сжег слизистую оболочку, долго потом сипел горлом.

Гришуха Перетягин, довольный собой и профессиональным мастерством, свойски посмеивался на обходах:

— Я тя, как на фронте, латал. Бах-трах по горячему. И приросло! При-иро-сло-о-о, понимаешь! Еще на нас, на вятских, наркоз тратить, кровь переливать. Наркоз вредный, крови в запасе мало, нас, вятских, много. Слушай, ты че, и правда чистый спирт непил? Н-н-ну, понимаешь! Тоже мне, миленький легавенький, красивый, кучерявенький! Таких хлюпиков надо гнать в шею из органов.

Расхаживался Сошнин долго. От одиночества и тоски много читал, еще плотнее налег на немецкий язык, начал марать бумагу чернилами. Сперва писал объяснительные, много и длинно, потом заготовил краткую, похожую на рапорт, бумагу и отделялся ею. Особенно тяжелое объяснение было со следователем Антоном Пестеревым.

Он шибко дорожил честью работника правосудия и, казалось ему, все и всех знал, видел насквозь.

— Как вы, милиционер, человек в годах уже и со стажем, могли стрелять в молодяжку, еще и жизни не видавшего, неужели не могли с ним справиться, задержать без выстрелов и крови? — прокалывая Сошнина узким лезвием глаз, явно подражая какому-то несокрушимоу, железному кумиру, цедил сквозь зубы Пестерев.

Федя Лебеда исхитрился усмыгнуть от объяснений — старший по патрулю кто был? Сошнин. Вот и отчитывайся, майся. Леонид сперва сдерживался, пытался что-то объяснить Пестереву, потом вскипел:

— Да за одну молодую мать с ребенком!.. — Он прикрыл глаза, отвернулся, — Растерзанные... пыль, кровь, замешано... багровая грязь. Я в любого, но с особым удовольствием в тебя всажу целую обойму!

— Псих! — сорвался следователь. — Ты где находишься? Как ты в милицию попал?

— Потому и псих, что ты блаженно живешь! — Сохранилось, все же сохранилось мальчишество в Сошнине. Он похлопал Антона Пестерева по форменному мундиру работника правосудия. — Это тебе не мама родная! От этого покойника, землячок, полсоткой не откупишься! — Да с тем и ушел, озадачив борца за справедливость до того, что он звонил Сошнину, помогаясь, что за намеки?

Родом из деревни Тугожилино, Пестерев забыл, что всего в трех верстах от его родной деревни, в сельце Полевка, жила теща Сошнина, Евстолия Сергеевна Чащина, и она-то уж воистину знала все и про всех, может, не во вселенском, даже и не в областном масштабе, но на хайловскую округу ее знания распространялись, и от тещи Сошнину сделалось известно, что в

Тугожилино четыре года назад умерла Пестериха. Все дети съехались на похороны, даже и невестки, и зятя съехались, и дальние родственники пришли-приехали, но младшенький, самый любимый, прислал переводом пятьдесят рублей на похороны и в длинной телеграмме выразил соболезнование, сообщив, что очень занят, на самом же деле только что вернулся с курорта Белокуруха и боялся, как бы радон, который он принимал, не пропал бесполезно, не подшалили бы нервы от переживаний, да и с «черной» деревенской родней знаться не хотелось. Родня, воистину темная, взяла и вернула ему пятьдесят рублей, да еще и с деревенской, грубой прямоотой приписала; «Подавился, паскуда и страмец, своими деньгами».

Вернувшись из больницы на костылях в пустую квартиру, Сошнин залег на диване и пожалел, что не выучился пить, — самое бы время.

Наведывалась тетя Граня, мыла, прибиралась, варила, ворчала на него, что мало двигается.

Пересилился, начал снова читать запойно, к бумаге потянуло — разошелся на объяснительных-то! В этой непонятной еще, но увлекательной работе забылся. Он и раньше, еще в школе, писчебумажным делом занимался — обыкновенный в общем-то, даже типичный путь современного молодого литератора: школьная стенгазета, многотиражка в спецшколе, заметки, иногда и в «художественной» форме — в областных газетах, милицейский, затем и другие «тонкие» журналы, на «толстые» пока не тянул и сам это, слава богу, сознавал.

«Может, мне к Паше поехать? У Паши хорошо!» — вяло думал Сошнин, заранее зная, что ему никуда не уехать. Шевелиться, за почтой вниз сходить — и на то нет сил, но главное — желания...

Паша — человек, способный ублаготворить, умиротворить и накормить весь мир. Это про нее Пушкин сочинил: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир...»

После первого боевого крещения и крена семейного корабля набок Сошнин от смятения, что ли, от пустопорожности ли времяпрепровождения решил пополнить образование и затесался на заочное отделение филфака местного пединститута, с уклоном в немецкую литературу, и маялся вместе с десятком местных еврейчат, сравнивая переводы Лермонтова с гениальными первоисточниками, то и дело натываясь на искомое, то есть на разночтения, — Михаил Юрьевич, по мнению вейских мыслителей, шибко портил немецкую культуру. В пединституте Сошнин впервые услышал слово «целевик», смысл которого граждане нашей страны, исключая разумные головы из Академии педагогических наук, до конца так и не постигли. Между тем «целевик» — слово, совершенно точно обозначающее смысл предмета — это абитуриент, присланный в высшее учебное заведение и принятый на льготных основаниях с целью и обязательством вернуться в родную сельскую местность на работу. О том, сколько и как возвращается в родную местность «целевиков», особо «целевичек», знает всезнающая статистика, да молчит в смущении.

На стадиончике, примыкающем к пединституту, пробитому там и сям зелеными прутьями кленовых поконов, Сошнин играл в городки. На месте стадиона был когда-то патриарший пруд, с карасями, кувшинками, лилиями и могучими деревьями вокруг. Борясь с мракобесием сановных, исторически себя изживших церковников, деревья свалили, воду вместе с карасями засыпали шлаком и землей, вынутой из-под фундамента новостроек, но оно же, проклятое прошлое, прилипчиво, живуче, оно из-под земли, из-под притоптанных и прикатанных недр стадиона, из пней, плотно закопанных, давало о себе знать, нет-нет, пусть и украдчиво, втихомолку, посылало в ясноглазую современность вестников весны, напоминало о себе

живучей ветвью тополя или клена, меж которых, по шлаком присыпанной дорожке, остро выставив локти, бегали будущие гармонично развитые педагоги, тренируя гибкость тела и крепость мышц.

Поскольку Сошнин охромел, его определили соревноваться в наземных играх, и он азартно швырял струганные палки, вышибая то «бабушку в окошке», то «змею», то «домик», и однажды увидел в уголке стадиона мужицкого телосложения деваху с неприятзательно рубленным, но румяным и здоровым лицом, на которое спадали коротко стриженные волосы толщины и цвета ржаной соломы. Девка собирала волосы на затылок старомодной костяной гребенкой и одновременно стягивала с себя лыжные штаны, рвала пуговицы на кофте, нетерпеливо постанывая и сопя расширенными ноздрями. На ходу подтянув трусы футбольного покроя, со свистом вобрав в себя побольше воздуха, девка вышла на беговую дорожку и замерла в ожидании старта. Сквозь мужскую майку, распертую телом до прозрачной тонкости, четко обозначался бюстгальтер, завязанный на спине морским узлом, потому как пластиковая застежка не выдержала напора скрытых сил, лопнула и болталась без нужды. Ясное дело, только крепким узлом и можно было сдерживать силы в чугунных цилиндрах груди с ввинченными в середку трехдюймовыми гайками. Те гайки, поди-ка, не раз и не два отвинчивали передовые сельские механизаторы, но даже резьбу сорвать не осилились, не укротили мощь могучего, все горячее распалющегося перед бегом механизма.

— Й-и-ех, глистогоны-интеллигенты! — рывкнула девка, когда поравнялись с ней трусцой трюхающие, подзапахавшиеся молодые спортсмены, бледно-серые от табака, ночных свиданий и жидкой студенческой пищи. Грудь у девки закултыхалась, зад завращался тракторным маховиком, ноги, обутые в кеды сорок второго размера, делали саженные хватки, лицо ее было вдохновенно, воинственно, вся мелкота, перебирающая ногами по земле, по захороненному патриаршему пруду, разлетелась на стороны мошкой и осталась позади.

Не зная, что такое финиш, девка промчалась мимо него и Бог весть куда бы убежала, если б на пути ее не оказался забор стадиона. Вот что такое была Паша! Бог и фамилию ей определил в соответствии с материей — Силакова. Какой-то тренированный спортсмен, не иначе мастер спорта, поверженный в прах, оправдывался, протирая очки: «Да я бы обошел эту стихийную бабу, но очки запотели». Паша Силакова, снисходительно похлопав по плечу знатного спортсмена, предложила: «Может, еще попробуем?»

С того и родилась знаменитая институтская песня: «Я б и кашу сварил, я б цветы подарил, я б любил тебя смертно и верно». Припев: «Да очки запотели». «Я бы сдал сопромат, поступил на физмат. Я бы взял все высоты науки. Да очки запотели...»

Дела у «целевички» Паши Силаковой в институте шли не так бойко, как на стадионе. Она и в своей-то починковской школе никого по наукам не обгоняла, все больше догоняла. Работать бы ей на колхозной ферме, быть ударницей труда, почитаемым человеком, многодетной матерью, да ее родная мать, молодость, жизнь, красоту и силу изработавшая на колхозной ферме, узнав про дополнительный набор в пединститут, сказала: «Поезжай, учись на ученую, много денег получать станешь, в люди выйдешь, не будешь, как я, веки вечные в назьме плюхаться».

Очень и очень хотела Паша Силакова стать ученой, не спала ночами, тупела от наук и городской культуры, смекнула своим деревенским, многоопытным мужицким умом, как достичь цели: возила в общежитие картошку, молоко, мясо из деревни, убиралась в комнате, стирала аристократкам с филфака бельишко, гладила, и те, курящие сигареты с долгими мундштуками, понимающие толк в коньяках, коктейлях и сексе, наизусть знающие названия иностранных наклеек на задку импортных джинсов, из которых самая ценная была «монтана», насмеялись над Пашей, помыкали ею. Мадам Пестерева, читающая в институте классическую

русскую литературу, приспособила Пашу в домработницы.

Супруги Пестеревы домашними делами не занимались, не пачкали рук, жили по правилам и запросам высокоинтеллектуальных личностей: баловались теннисом, купались в прорубях, ездили на коллективные охоты, оба лихо водили личную «Волгу», небрежно вертя руль одной рукой и выставив локоть в окошко. В «Волге» чехлы из какого-то мохнатого существа — из меха ламы, объясняли Пестеревы, за задним сиденьем, как у богатого кавказца, катался пестрый мяч; перед передним стеклом, опять же, как положено состоятельным, понимающим культуру особам, подвешена экзотическая ширококоротая обезьянка в красных трусах; по стеклу ярко написано: «Эспанио-уэрто-командорос».

Женившись еще в студенческие годы на дочери директора вейского льнокомбината, Антон Пестерев имел на троих четырехкомнатную квартиру, содержал местный «салон» и собирал в нем по вечерам «высший свет» города Вейска. Одна из комнат супругами Нестеровыми была превращена в некую разновидность гостиной, игорную залу и дешевенький музей, на стенах которого висели абстрактные полотна, гравюры, несколько дорогих полуфривольных чеканок с русалками, пара прялок, пара лаптей, репродукций с пикантных полотен Сальвадора Дали. Вечерами в зале чуть приглушенно, интимно звучали по японской радиозаписывающей системе модные записи «из оттудова», ну и наши, необходимые в модном салоне модные поэты: Высоцкий, Окуджава, Новелла Матвеева; на инкрустированных полочках — Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аполлинер, Дос Пассос, Хименес, Ли Бо, далее Пикуль, Сименон и Апдайк, меж них Библия дореволюционного издания, молитвенник с золотой застежкой, «Слово о полку Игореве» в подарочном издании и нарядный словарь Даля в четырех томах.

Мадам Пестерева развлекала своих гостей рассказами о Паше Силаковой и устраивала потеху в студенческих аудиториях:

— Ну-с, молодой человек, — старомодно обращалась она к студентке, словно к существу мужского пола, поставив ее перед публикой по команде «Смирно!». — Что вы можете рассказать о роковых заблуждениях Николая Васильевича Гоголя?

И скорый, радостный, изготовленный по подсказкам сокурсниц, следовал ответ Паши Силаковой.

— Мистические настроения Гоголя, навеянные ему отцами церкви с их мрачной и отсталой философией, привели и не могли не привести к духовному краху великого русского писателя. В результате этого краха он сжигает второй том «Мертвых душ», который, впрочем, был слабее первого тома оттого, что оказался пропитан растленным духом церковников, скрывавшихся в катакомбах и мрачных закоулках Оптиной пустыни и прочих притонах воинствующих мракобесов...

— Так-так. Вы, конечно, прочли второй том и оттого так уверенно его отрицаете?

— Нет. Все это нам рассказывала еще в селе учительница литературы Эда Генриховна Шутенберг, и девочки мне помогли. Заучить.

— Ссылная учительница?

— Да. Но она потом исправилась, была восстановлена. И орденосеиц даже сделалась.

— Может быть, она даже заслуженной учительницей стала?

— Да. Я забыла сказать. И заслуженной.

— И она вас, деревенских учащих, приучала к самостоятельности мышления?

— Упорно приучала. Настойчиво. Много сил положила на это дело.

— Ну что ж.

Едва заметной улыбкой, блуждающей по лицу, мадам Пестерева призывала в свидетели аудиторию, продолжая показательный спектакль, предлагая простодушной Паше Силаковой «исследовать эпоху Пушкина», и даже подталкивала ее кивками головы и «наводящими» репликами на нужное направление. И Паша вдохновенно обличала высший свет и пагубную эпоху, в которых великий поэт и мученик погряз, крыла графа Бенкендорфа, саркастически сокрушала царя, критикуя его, будто пьющего бригадира на колхозном собрании, резко и беспощадно, и заключала, что ничего другого, как «погибнуть на благородном поле брани», великому поэту и не оставалось, «интриги, придворные интриги погасили светоча русской поэзии...»

— Здорово вы их! — качала головой мадам Пестерева. — Ну что ж, давайте зачетку. Не каждый день, даже в стенах нашего института, так вот досконально анализируют поведение классиков.

Лерка, жена Сошнина (ныне, как и полагается по современной моде, они в разводе, судом еще не оформленном), училась с Пашей Силаковой в старших классах починковской школы. Она узнала, как потешаются в институте над добрейшим человеком, как ученая дама превратила девку в домработницу.

— Это что? Это вот как? — орала Лерка — человек маловыдержанный. — Хулиганов вяжете! В вытрезвитель пьяниц тянете. А это, это что? Когда над нами, деревенскими, перестанут глумиться новоявленные аристократы?!

— Не ори ты и на Бога меня не бери! Давай думать, как девку спасти.

Придумали перевести Пашу в ПТУ сельскохозяйственного направления, учиться на механизатора широкого профиля. Паша в рев: «Хочу быть ученой! Ну, пусть хоть переведут в училище дошкольного воспитания, раз я тут осилить не могу...»

Сошнин взял Пашу Силакову за руку и отвел к ректору пединститута домой, к Николаю Михайловичу Хохлакову, известному книголюбу, у которого и «пасся» в библиотеке Леонид. В свое время вернувшись из заключения и не подыскав еще работу, тетя Лина стирала и убиралась в доме профессора.

Николай Михайлович — по облику типичный профессор. Грузен, сед, сутул, носил просторную вельветовую блузу, не курил табак, не пил вина. Пыльными книгами до потолка забита четырехкомнатная квартира, и все это, как и рассчитывал Леонид, произвело на Пашу Силакову большое впечатление. Когда Николай Михайлович объяснил ей, что для современного ученого она слишком прямодушна, да еще добавил, что сельский механизатор ныне зарабатывает больше ученого-гуманитария, Паша махнула рукой:

— Не всем ученым быть. Надо кому-то и работать. Где у вас поганое ведро? — И, задрав подол, начала мыть пол, протирать мебель, книжные шкафы в квартире недавно овдовевшего профессора, крича при этом на весь «ученый» дом: «Я! Ты! Он! Она! Вместе будет вся страна!..»

Пока не освободилось место в общежитии, Паша и жила у профессора, иногда навещала

Сошнина, еще с порога хайлая возмущенно: «Ну и засвинячился ты, братец-кондратец!»

Училась Паша в ПТУ хорошо, сделалась выдающейся на всю область спортсменкой, в метании диска побила все местные рекорды, даже ездила на зональные соревнования и на Спартакиаду народов СССР, в столицу, после возвращения из которой Сошнин едва ее узнал.

Перекрашенная в золотой цвет, с шапкой завитых, да и не завитых, а прямо-таки взвихренных волос, с засиненными веками, в джинсовом костюме, в сапогах «а-ля мушкетер Боярский», явилась Паша в родные края, бурная, все сокрушающая, с сигаркой в зубах.

— Знай наших! Поминай своих! Мы, деревенские, можем вести себя похлеще лахудров с филфака.

«Э-э, — затосковал Сошнин, — этак дело пойдет — деревня лишится еще одного хорошего работника, город приобретет еще одну зазвонистую хамку». И с помощью все того же Николая Михайловича и Лерки спровадил Пашу на центральную усадьбу родного починковского колхоза «Рассвет», где она работала механизатором наравне с мужиками, вышла замуж, родила подряд трех сыновей и собиралась родить еще четверых, да не тех, которых вынают из чрева с помощью кесарева сечения и прыгают вокруг: «Ах, аллергия! Ах, дистрофия! Ах, ранний хондроз...»

— Мои мужики на земле работать будут, в моря ходить, в космос летать. — И слабое существо, мать и женщина, со вздохом добавляла Паша: — А все ж хоть бы один, как Николай Михайлович, ученым сделался...

— И ты меня не увезешь. И я, наверно, не уеду. А тройка? Тройка — это ложь! И я давно не верю деду, — пробормотал Сошнин, все лежа на диване и радуясь, что поезд на Хайловск прошел, до завтра не будет туда оказии, кроме автобуса, на автобусе же трястись в такую погоду боевые раны не велят. Вот завтра или послезавтра укрепится духом и поедет к Паше в гости, может, и до тестя с тещей доберется — от Починка до Полевки рукой подать. Надо бы Лерке позвонить. Давно не звонил. Да ведь по голосу догадается, что опять что-то стряслось с человеком.

И это терпит.

Итак, на чем же мы остановились? На противоречиях жизни? Почему люди бьют друг друга? Какой простой вопрос! И ответ проще простого: «Охота, вот и бьют...»

Начальник Хайловского райотдела УВД Алексей Демидович Ахлюстин, мыслитель и боец, говаривал: «Половина людей на земном шаре нарушает или собирается нарушить, другая половина нарушать не дает. Пока равновесие. Дальше может наступить нарушение баланса...»

«А Лерке все же надо позвонить. Что она там? Как?» — Сошнин повернул руку с часами к свету, тускло сочащемуся из давно не мытого окна, из-за пузато вспученного «гардероба», — полпятого. Лерка кончает работу в шесть. Пока за Светкой в садик зайдет, в магазин, туда-сюда, раньше восьми нечего и думать звонить. На работу разве? Но там же бабье! Изнывающее в белой аптеке от белого безделья, от запаха лекарств, дурманящего плоть и ум, «Твой!» — зашебуются возбужденные бабьи умы. «Денег занять хочет». «По ласкам соскучился...». «Об ребенке родном вспомнил...»

«У-ух, бабы, бабы! Без вас прожить бы кабы. Во, стихи пошли! Сами собой! Как у Маяковского. Может, даже лучше...»

Притягивала к себе глаз, тревожила рассудок могучая гуща «гардероба», в сутеми явственно напоминающая фигуру бессмертного Собакевича. Из-за него, из-за этого «гардероба» супруги Сошнины разбежались в последний раз, точнее, из-за тридцати сантиметров — ровно настолько Лерка хотела отодвинуть «гардероб» от окна, чтоб больше попадало в комнату света. Хозяин, зная, как она ненавидит старую квартиру, старый дом, старую мебель, в особенности этот добродушный «гардероб», как хочет свести его со свету, стронуть, сдвинуть, тайно веруя: при передвижке он рассыплется, историческую мебелину можно будет пустить в печь, — оказал сопротивление, а сопротивление, знал он по службе, всегда чревато «последствиями».

Мгновенный вспыхнул скандал, крик, слезы, и в такой же непогожий вечер, схватив за руку ребенка, Лерка ушла в общежитие фармацевтического института. Вторично умчалась. Как зав. аптекой, скорей всего при содействии Леонидова дружка, приятеля детства, ныне большого начальника, Володи Горячева, бедствующая мать с ребенком перебралась в дом гостиничного типа, в девятиметровую комнату, где есть все условия для жизни: туалет, мойка, кран, метла, диванчик, стол и телевизор, а он, значит, остался «на просторах», царствует в своей квартире, наслаждается свободой, и «гардероб» стоит что скала. «Стоит! И стоять будет!» — почти торжественно, как Петр Великий о России, сказал Сошнин про «гардероб».

Мысль о Лерке не угасала, наоборот, подступала ближе. Как на душе смута — она тут как тут, во, прилипчивый человек! Баба! Жена. Крест. Хомут на шее. Обруч. Гиря. Канитель земная.

Глава пятая

Город Хайловск, куда направили работать Сошнина после окончания школы УВД — типичный, в общем-то, райцентр на пятнадцать тысяч голов населения, довольно спокойного, в основном сельского. Промышленность здесь была лесная, кудельная и сельскохозяйственная. Беспокоил порой и будоражил городок, стоявший на отшибе, текстильный техникум да межзональный дом отдыха лесозаготовительной отрасли. Иногда, очень редко, Хайловск сотрясали отзвуки современного прогресса. Сотрясения катились в основном по железной дороге, подле которой ютилась небольшая, с дореволюционным деревянным вокзалом станция Хайловск, о восьми путях, в любое время года забитых вагонами, груженными круглым лесом, доской и брусом — продукцией местного леспромхоза.

Но вот зачастили в Хайловск важные чины. Сперва небольшие, сдержанные, немногословные, потом покрупней, посолидней, еще более сдержанные. Дело кончилось тем, что на восьмой путь было поставлено несколько вагонов, в которых жила трудовая солдатня с лейтенантом во главе. За три с небольшим месяца боевой военный отряд отгрохал в центре Хайловска двухэтажную гостиницу, повеселил городишко и, оставив двух-трех вдовушек в безутешном горе, отбыл в неизвестном направлении.

Гостиницу долгое время населяли отпускники и командированные. Как-то в Хайловск нагрянул уроженец здешних мест, видный конструктор, у него автомат был излажен в виде многозарядной автоматической зенитки, прозванной фронтовиками «дай-дай». И от этой зенитки — как ты ни летай, как ни бегай — никуда не улетишь и не убежишь.

Словом, гостиница досталась городу. И вот в этой-то гостинице суждено было Сошнину прославиться на весь Хайловск и окружающие окрестности. Жители Хайловска существовали в своих домах, гости их и родственники, приезжая в отпуск, жили там же. Гостиничные номера заселял богатенький, разбитной уполномоченный, нацеленный на хайловскую лесопroduкцию, солнечной летней порой ревизор из Минлесхоза или из «Сельхозмеханизации», дитя Кавказских гор с дарами солнечного, плодородного юга: помидорами, цветами, фруктами, — ошастливливал здешний рынок, заросший крапивой и бодягом, куражливый журналист

местной прессы сотрясал телефоны «люкса», собирая материал по передовому опыту переработки льна и использования лесоотходов; поэты и художники налетали чаще всего артельно.

Вот в гостинице завертелись «химики». Началась картежная игра: «гадалки», «пулеметы», «библия», «колотушки», «альянцы», «сонники», «стирки» — как только карты ни называли. Зазвенели гитары, взвизгнули в ночи женщины, заскорготали зубы, послышался лязг битого стекла и кинжальный звон. «Кабел, демон, угол, индия, бал, играть на рояле, чмок-шпок, гладенько, задок, залепить хаверу, чос, бацильный, духовой, ежик, кучер, шнифер» — слова-то, слова-то все какие! Музыка! Зарешеточная, на бессонных тюремных нарах сотворенная словесная продукция пугала тихий, за лесами, за болотами живущий хайловский люд.

Но вот явился в Хайловск Демон! В соседней области прибил ломом инкассатора, «взял на хомут» — так это называется — сорок тысяч «рваных» и пистолет. «Вооружен и очень опасен» — как раз в ту пору шла кинокартина с таким названием в Доме культуры работников леса.

Сошнин не от картины, нет, скорее от физического и душевного застоя, заранее дрожа и подобравшись, решил: «Возьму! Когда еще в Хайловск пожалует Демон. Настоящий...»

По телефону из областного уголовного розыска приказывали не соваться не в свое дело, до приезда оперативной группы ничего не предпринимать, но с преступника глаз не сводить. Но Демон, «печальный Демон — дух изгнания», — вдруг в небеса вознесется!..

Тонкую операцию замыслил Сошнин. Как раз на город Хайловск хлынула спортивная орда. Дом отдыха, общежитие техникума, гостиница забиты под завязку. Городок цветет синими штанами, шапочками с иностранными буквами и знаками. Соревнования, эстафеты, шум, многолюдство — очень это важный фактор! Пригласив двух дружинников из леспромхоза, Сошнин переоделся в гражданское и во время обеда «подселился» с раскладушкой в номер грабителя. И когда злодей пришел и, увидев постороннего человека, напрягся и начал бледнеть — не давая ему ни минуту на раздумья, молодой детектив, читавший книжку технического толка — для маскировки такую книжку подобрал, соскочив с раскладушки, представился:

— Инженер Зверев. — И фамилия-то, фамилия вмиг, кстати подходящая явилась. — Все места в гостинице заняты. Физкультура и спорт. Всегда готов. Извините. Подселили... — И как только в протянутой руке ощутил руку Демона, зажал ее, вывернул и... бандит и ахнуть не успел, как на него мильтон насел!..

Начальник угрозыска города Вейска, седой, подслеповатый, но весь вроде бы сложенный из мускулистых, крупногабаритных деталей, объяснил Сошнину всю его глупость: сотрудник милиции малого городишка — да его собаки и те не только в лицо, но и на нюх знают! «Самбист. Бывший чемпион спецшколы по боксу!» — «А откуда тебе известно, что Демон — не чемпион страны по вольной борьбе? Может, по всем видам спорта чемпион, включая фигурное катание?! Ты изучал его биографию? Силу? Реакцию? Гастролер он, матерый кучер или портяночник? Баклан? Тумак? А если б матерый? Да он бы тебя разделал, как киевский мясник! И собирали бы тебя по частям, чтоб прилично выглядел в гробу...»

Но как бы там ни было, народ-то узнал о «подвиге», и выходило, что не начинающего гастролера скрутил Сошнин, брал он двоих опытных убийц, и были у них не пистолеты, по автомату было, и одного бандита Сошнин известным лишь ему приемом выбросил в окошко со второго этажа, чтоб не путался под ногами, со вторым-то ему и труда не составляло управиться!..

На улицах и в общественных местах Хайловска слышал герой-детектив вослед себе: «Тот самый!» И не только из техникума, даже приезжие девчата начали глядеть на него с пристальной заинтересованностью и что-то выдающееся находили в его облике, потому как норовили спросить именно у него про расписание поездов и автобусов, когда буфет откроется, какая будет завтра погода, придавая голосу воркованье, заводя глаза под зачерненные ресницы.

Сошнин просил устно и письменно свое руководство перевести его куда-нибудь, желательно подальше от Хайловска. Ему обещали «подумать», но тут нанесло на молодого героя не менее жуткую, чем вооруженный бандит, опасность.

Дожив до двадцати двух лет, Лерка ни с одним еще парнем не дружила — она отпугивала кавалеров высокомерным видом и какой-то свертехнической оснащенностью тела. Скуластенькая, вся в локтях, в коленях, в лице, в руках, в ногах, в груди, даже вроде бы и в заду у нее были колени и локти, и все это заведенно двигалось, стремительно, выразительно, даже и нахраписто, все вертелось, в таком даже месте, где у других людей вертеться нечему. Говорила Лерка резко, точно, кратко; на мир глядела так, будто все в нем уже давно не только знала, но и прошла еще в школе и ничего в этом мире никакого ее внимания не заслуживает. При всем при этом Лерка была кокетлива, ходила «на тырлах», как говорят блатняки, ручки полусогнутые, словно у заводной куколки, навьючивала немислимые прически, натягивала какие-то свертхмодные платья, косынки, пилотки, шляпки, в последнее время — тугие, узкие джинсы и гарибальдийскую пышную косынку, узлом схваченную на горле. Хайловские кавалеры прозвали Лерку «примадонной» и прохаживались по перрону в «ее стиле», вертя всем, что у кого может вертеться, но близко к Лерке не подступали — и без нее хватало «кадров».

Практическое внимание на Лерку обратили «химики», приняв ее за халяву. Лерка училась в Вейске на фармацевта, на выходные приезжала к родителям, в деревню Полевку — это двадцать километров от Хайловска, в девяти верстах от Починка — центральной усадьбы колхоза, и, когда дожидалась автобуса в родные края, «химики» откололи ее от публики, подпятили к забору и между киоском «Союзпечати» и филиалом леспромхозовской столовой давай снимать с нее штаны. Штаны-то джинсы, их не так-то просто и по доброй воле сдернуть, а при сопротивлении время и сноровка надобны. Сошнин как раз приехал с лесоучастка, где всю ночь умирал лесорубов после получки. Выйдя из поезда, отбил барышню, увел ее в дежурную комнату, где ее долго отпаивали водой.

— Люди на остановке! Советские, наши, здешние — и никто, никто не заступается! Подлые!.. Подлые!.. Все подлые! — в истерике кричала Лерка.

Конечно, подлые. Кто ж станет отрицать или спорить? И люди на остановке, и «химики» — это уж само собою. Но вот автобус на Починок ушел и будет только завтра утром. Что делать?

Бессонная ночь позади. Спать охота — спасенья нет. Молодой организм отдыха просит. Брюзгин, сотрудник ЛОМа, удалит барышню из дежурки сразу же, как уйдет с вокзала Сошнин, потому как жена у него сто кило весом, ревности же в ней на все двести, и проверяет она поведение сотрудника ЛОМа через каждые два часа. В вокзале по скамейкам валяются друзья «химиков» или на них похожие кореша, раздумывая насчет условий вербовки: соглашаться им в Хайловский леспромхоз или в глубь страны подаваться? Пришлось брать Лерку к себе, в холостяцкую комнату, выделенную Сошнину в леспромхозовском общежитии. Он бросил шинель на пол, в головах свернул казенный бушлат, укрылся плащом, указал барышне на казенную кровать с пружинами, звенящими что арфа, и только донес голову до изголовья — канул в непробудное, сладкое царство.

И не возвращаться бы ему из того, все утешающего, блаженного, царства в вечно жужжащее общежитие, в узенькую комнатку с казенной желтой занавеской на окне, отмеченной черной, жирной инвентаризационной печатью, с казенной кроватью, накрытой простыней, тоже с печатью, с чайником без крышки и без печати, с эмалированной кружкой, с гнутыми столовскими вилками, с чемоданчиком в углу и стопкой книжек на подоконнике.

Он продрал глаза и с удивлением увидел: на казенной койке, звучащей, как арфа, скатившись головой с плоской, отходами кудели набитой подушки, спала барышня, совсем не похожая на ту, каковую она изображала из себя на людях. Она ровно дышала чуть приоткрытым алым ртом, и что-то совсем далекое от грубой действительности снилось ей, верхнюю губу, помеченную пушком, трогала летучая, даже мечтательная, улыбка, чуть вздрагивали сомкнутые ресницы, румянец облил щеки, и не суетились руки-ноги барышни, ничего не суетилось, не дрыгалось, все было подвялено, усмирено доверительно-глубоким сном. Солнце, в радостном ослеплении плящущее сквозь занавески на спящую девушку, поигрывало, дразнилось, щекотало спящего человека. Форсистые джинсы Лерка сняла — кочегарили, не жалея лесоотходов, по-зимнему, хотя стояла осенняя пора, исход бабьего лета был, девушке сделалось жарко от солнца и сыро шипящих батарей отопления, она сбросила пальтишко на пол, колени ее приголились и оказались совсем не острые, не задиристые, а круглые, чисто белеющие натянутой кожей, и пятнышко солнца ластилось, скакало котенком по коленям госты.

Сошнин замахнулся, чтобы прикрыть гостью одежкой, и в этот роковой момент дернуло ее проснуться. Она с виноватым испугом осмотрелась «Где я?» — и тут же вспомнила где, улыбнулась, утерла губы, в забытии блаженно потянулась:

— Крепко спится под защитой родной милиции! — И потрепала его русые, вчера только в леспромхозовской бане с шампунем вымытые волосы. — Шелковые! — сказала голосом, вдруг упавшим до всхлипа.

Что можно ждать от хорошо отдохнувших молодых людей! Одних только глупостей, и ничего больше.

И стала Лерка все чаще и чаще задерживаться меж городом и селом, осуществляя смычку в буквальном смысле этого неблагозвучного слова. Дело дошло до погубления выходных — неинтересно сделалось Лерке проводить воскресные дни в родной полуопустевшей Полевке, под родительским кровом. Дело кончилось тем, чем оно и должно кончаться в подобной ситуации, — явились молодые люди в Полевку, созревшие для добровольного признания, с повинной. Как лицо служебное, милицейское, Сошнин привык знакомиться с разным народом, чаще всего тут же забывая знакомства, но в Полевке дела обстояли иначе. Евстолия Сергеевна Чашина подкрасила губы, надела новый строгий костюм в полоску, капроновые чулки и туфли анисового цвета. Сошнин думал, в честь какого-то праздника, может, дня рождения чьего-то, выяснилось же — в честь их приезда. Улучив момент, Евстолия Сергеевна увела гостя в огород, показывать, какие у них парники, ульи, какая баня, колодец, и там напрямик заявила: «Я надеюсь, мы, интеллигентные люди, пойдем друг друга...»

Сошнин заозирался, отыскивая по огороду интеллигентных людей, — их нигде не было, и начал догадываться, что это он, Леонид Викентьевич Сошнин, и Евстолия Сергеевна Чашина и есть интеллигентные люди. Очень его всегда смущало это слово. На деревенском же огороде, в полуразвалившемся селе — просто ошарашило. Он заказал себе: медовуху, как бы его ни принуждали, больше не пить и при первом удобном моменте из Полевки умчаться на милицейском мотоцикле.

Евстолия Сергеевна испуг гостя истолковала по-своему и уже без ласковых оттенков в голосе, безо всякой бабьей вкрадчивости поперла насчет того, что дочь у нее — человек исключительный, что уготована была ей более важная дорога и ответственная судьба, но коли так получилось — он проявил такое благородство, и вообще человек, по слухам, героический, — она вверяет ему...

— Зачем же здесь-то? — залепетал «героический человек». — Я готов... При Маркеле Тихоновиче...

— А он-то тут при чем?! — изумилась Евстолия Сергеевна. — Содержим его, пусть и на том спасибо говорит.

Вслушаться бы, вслушаться во все ухо в эту непреклонно выраженную мысль, внять ей, а внявши, перемахнуть бы Леониду через городьбу, ухватиться за рога казенного мотоцикла — черт с ней, с фуражкой! Сказать, что сдуло, — новую выпишут. Но это тебе не Демона валить! Там все просто: хрясь злодея об пол — и ваша не пляшет! А тут он, как бычок на веревочке, плелся с огорода за Евстолией Сергеевной, потом стоял подле жарко натопленной глинобитной печи, вертел в руках нарядный милицейский картуз: «Вот, прошу, стало быть... Ой, прошу тоись, руки...» Хотел пошутить: — «И ноги тоже!» А сам все вертел и вертел картуз с горьким чувством человека, приговоренного к лишению свободы на неопределенный срок и без права на помилование... единого милицейского головного убора не успев износить. Чего доброго, еще и икону ко лбу приставят! И заступиться некому: ни отца, ни матери, даже тетки нет — круглый он сирота, и что хотят, то с ним и делают...

Властвовала в доме Чащиных Евстолия Сергеевна. Судя по карточкам, газетным вырезкам и рассказам, прожила она довольно бурную молодость: ездила в сельском агитпоезде, в красной косыночке, тревожила земляков не только речами, за «перегиб» была брошена на хайловскую кудельную фабрику, даже фабричку, в качестве профсоюзника, но по очередному призыву вернулась на прорыв в родное село, ведала избой-читальней, клубом, было время, когда ее бросали даже на колхоз — председателем. Но к той поре работать она совсем разучилась, да и не хотела, и ее все время держали на должностях, где можно и нужно много говорить, учить, советовать, бороться, но ничего при этом не делать.

Безответный, добрейший тесть Сошнина Маркел Тихонович Чащин потянулся к зятю, как те родители, что потеряли ребенка в блокаду и, пусть в зрелом возрасте, отыскали его. Все, что мог и хотел дать сыну Маркел Тихонович: любовь, тепло сердца, навыки в сельском, глазу не заметном труде, ремесла, так необходимые в хозяйстве, — все-все готов был тесть обрушить на зятя. И Леонид, не помнивший отца, возвращенный пусть и в здоровом, но в женском коллективе, всем сердцем откликнулся на родительский зов. И какая же просветленная душа открылась ему, какой истовой, мужской привязанностью вознаградила его судьба!

Сошнин именовал тестя папашей. Маркел Тихонович имел от этого в душе торжество, потому как тещу зять звал только по имени-отчеству. «Они», «она», «эти», «сама», «их» — это лишь краткий перечень междометий, с помощью которых Маркел Тихонович обращался со своими домашними, называть жену и дочь собственными именами он избегал, длинно получалось, тем более что у дочери было имя «не его», он желал назвать ее Евдокией, в честь своей бабушки, но жена, взбесившаяся от культуры, нарекла ее Элеонорой — вот и пользуй его, такое имя, каким только корову или козу можно называть.

Евстолию Сергеевну за суету, табак и матерщину не терпели пчелы — Маркел Тихонович держал три семьи — для домашности. И стоило жене выйти в огород, в углу которого под

дуплистыми липами стояли ульи, он тут же отворял леток, и пчелы загоняли хозяйку либо в нужник, либо в сенцы. В бане Маркел Тихонович мылся один, не пускал супругу на покос — истопчет, измочит сено, корова исти его не станет, пилил дрова в одиночку, не слушал жену, когда она жаловалась на хвори, смотрел по телевизору «развратные», по разумению Евстолии Сергеевны, передачи: фигурное катание и балет — и, как можно было догадаться, давно не выполнял мужских обязанностей. Уязвленная супруга следила за ним и будто уже не раз «застукала» старого блудника, который с другими бабами «делал, че хотел».

— У меня из рук, Левонид, ниче не выпадат, меня тятя, царство ему небесное, с детства всякой работе обучил, потому как в деревне без рукомесла нельзя, рукам махать и речи говорить — трибунов на всех не наберешься! На войне, в раздорожье, кому обутку починю, кому бритву направлю, повозку подлатаю, колеса обсоюзу, втулку там, ось, оглобли ли вытешу, сварить че — суп, кашу, картошки, коня обиходить, сруб в землянке сделать, дзот покрыть — все мне по руке. На фронте, Левонид, слова ниче не стоят, потому как на краю ты жизни. Хоть верь, хоть нет, Левонид, меня Тихоновичем в роте звали, не из-за старости, не-эт, — я в самой середке мушшинских годов был, исключительно из уважения звали, из уважительности, медаль мне первому в роте дадена была, когда медали ишшо мешком на передовую не возили... И вопше, маракую я, Левонид, нашей державе честные трудовые люди нужны, а не говоруны и баре. Пустобрехи, вроде моей бабы, проорали деревню. Война и пустобрехи довели до того, что села наши и пашни опустели.

Почувствовав союз двух мужчин куда прочнее женского, Евстолия Сергеевна пошла на них приступом, но зять оказался неуступчив, защищал себя и тестя:

— Евстолия Сергеевна! Все претензии, какие есть ко мне и к папаше, высказывайте не в магазине, не на завалинке, а здесь, дома, и больше при мне не унижайте папашу, не сгоняйте его в могилу — без него вы пропадете ровно через неделю...

— Кто это — вы? Кто это — вы? — взвилась Лерка.

— Ты и твоя мама.

— А ты зачем? Ты — муж!

— И я, муж, и вы, жены, пока еще сидим на шее у папаши, да скоро и внука туда посадим.

Мужики уединялись в лесу, пилили весной долготье на дрова, вывозили его, на сенокосе управлялись, в межсезонье на реке сидели, подле удочек и закидушек, либо верши ставили на перекате и в заливах.

— Да что же это такое! Все при деле, мои жеребцы сидят — реку караулят! — базлала на весь белый свет Чащиha, спускаясь вдоль ограды к реке с детским ведерком — взрослое ведро она якобы не могла уже поднимать.

Маркел Тихонович из наносного хламу выбрал палку, попримерил ее к руке, молча двинулся навстречу супруге и вытянул ее по широкой спине, да так звучно, что вся округа замерла, будто перед концом света: коровы на лугу перестали жевать траву, овечки затопотили, давя друг дружку, бросились врассыпную; спутанный колхозный конишко с потертостями и лишаями на спине, припал к воде, хотя пить ему не хотелось, — ничего не вижу, ничего не слышу — опытный конь.

Чащиha, ровно бы вслушиваясь в себя, в мир, ее окружающий, схватила ртом раз-другой воздух

и спросила:

— Убил? Меня-а-а убил... — и только собралась заорать, как Маркел Тихонович вытянул ее палкой вторично.

— Я четырежды ранетый. Я в гвардии пехоте фашиста бил! У меня десять наград в ящике! А ты меня при зяте страмотишь!.. — Хоп да хоп Чащиху по спине.

— Милиция!

Сошнин в это время подлещика подсек, повел его, сердечного, к берегу — милиция он на службе, а тут зять и рыбак и тоже, как и все советские люди и граждане, имеет право не только на труд, но и на отдых — по Конституции.

Председатель поссовета, старый фронтовик, заранее и но всем солидарный со всеми фронтовиками, получив от Евстолии Сергеевны заявление-акт на своего супруга и бегло с ним ознакомившись, заявил:

— Дивно, как твой муж тебя до се не пришиб? Я бы в первую же ночь супружеской жизни прикончил такую фрутку и в тюрьму бы добровольно отправился.

Дитя, всеми любимое и единственное, Светка, какое-то время соединяла семью, да худо Лерка обихаживала дитя, и себя, и мужа — деревенская девка, ничему не наученная пусто-брешной мамой, не умела она сварить пустую похлебку, каша манная для ребенка у нее непременно в комках, стирает — брызги на стены, моет пол — лужи посередке, под кроватью пыль, зато травила анекдоты наисмешнейшие, подвизалась в институтской самодеятельности, Маяковского со сцены кричала.

Пока тетя Лина жила да была, от мерзостей быта Лерку избавляла, и с воспитанием ребенка дело шло вперед, хотя и дергалась эмансипированная женщина, не нравилось ей, что тетка наряжает Светку по-деревенски, в какие-то капоры, в грубые шерстяные носки собственной вязки, купает в корыте стиральном, стрижет наголо, чтоб волосики крепче были, кормит капустными щами с картошкой. Если уж ее жизнь загублена неразумной связью до брака, так пусть вырастет хоть дитя исключительной личностью, похожей на вундеркиндов Сыроквасовой — чтоб премиями награждалась за рисунки, хоть за хоровое пение, хоть за гимнастические упражнения, чтоб про дочь в газете писали и по радио говорили.

Муж толковал жене: «Медицина утверждает, что здоровье дороже всего, так давай сохраним ребенку хотя бы здоровье. — „Как мы это сделаем?“ — „Это сделает тетя Лина. Гляди на меня и убеждайся, что она это умеет делать хорошо. Нет у меня ни аллергии, ни пневмонии, даже зубы не болят“. — „Бугай. И жизнь твоя бугайная!..“

Жизнь разнообразна, где найдешь, где потеряешь — угадай наперед! Помылись однажды в городской бане супруги Сошнины, сомлелые, душой и телом чистые, благодущные, решили на рынок зайти, изюмчику Светке купить, себе — вятских огурчиков из дубовой бочки. Леонид локоть кренделем загнул, супруга руку в кожаной перчатке ему на согнутый локоть кинула. Идут, толкуют. Счастливые советские люди, в воскресный день наслаждаются заслуженным отдыхом, на людей дружелюбно смотрят, и не видит потерявший бдительность сотрудник местной милиции, что под аркой городского базара, где написано «Добро пожаловать», пляшет, поет, ко всем липнет пьяная Урна. Губы у нее обляпаны красным, волосы — рыжим, наплывы рыжей краски видно за ушами и на лбу. Злобно-веселая, тешится Урна, развлекает народ бесплатно. У Сошнина, как только он заметил Урну, не только в груди, но и в животе все

сжалось — случалось ему эту красотку вынать из «постелей» в привокзальных заулках, возить в вытрезвитель, когда ее еще в вытрезвитель пускали, гонять с рынка, выселять из города.

Урна — тварь злопамятная, мстительная. Она-то еще задаль заметила супружескую пару.

— А-а, синеглазенький! — приветствовала Урна молодого человека, будто и не замечая рядом с ним Лерку. — Забы-ы-ыл ты про меня! Совсем забыл! На ентую вот вертихвостку променял! Ай-я-я-а-ай! Изменшыки вы, мушшыны, коварные изменшыки! — И, отрыгая на Лерку табаком и виницем, пожаловалась: — Не помнят никакого добра, злодеи!

Лерка выдернула руку из-под мужниного локтя, уронила перчатку и побежала с рынка, закрывшись ладонью.

— Оне к Муське, на кирпичный завод повадились! — орала Урна ей вослед. — Гляди-ы-ы-ы! Принесет он те награду...

Дома бурная сцена, закончившаяся схваткой.

— Подлец! — кричала жена. — Какой подлец! — и хрясь мужа по морде.

Он перехватил руку жены болевым приемом, посадил ее на пол.

— Еще раз... шевельни только лапкой!.. Примадонна!..

— О-ой, руку вывихнул, зверина!

— Да ребятки! Да миленькие!.. Да что случилось? — топталась вокруг них тетя Лина.

После смерти тети Лины супруги Сошнины все чаще сбывали Светку в Полевку, на бабкин худой досмотр и неумелое попечение. Хорошо, что кроме бабки был у дитяти дедка, он мучать культурой ребенка не давал, приучал внучку не бояться пчелок, дымить на них из баночки, различать цветки и травы, подбирать щепки, скрести сено грабельками, пасти теленка, выбирать из куриных гнезд яйца, водил внучку по грибы, по ягоды, гряды полоть, с ведерком по воду ходить на речку, зимой снежок огребать, подметать в ограде, на салазках с горы кататься, с живой собакой играть, кошку гладить, гераньки на окне поливать.

Пустота после смерти тети Лины ничем не могла заполниться, но должна же она, по законам физики, чем-то заполняться. Раздражение и темная тоска заселяли пустоту, в темноте же самое место черному злу. Все в жене раздражало Сошнина, даже такие мелочи, как кухонные дела, на которые мужчине и внимания-то обращать не надо бы, или обратить их и шутку, ведь за чувство юмора и терпимость, воспитанные тетками Линой и Граней, его ценили в школе, на работе — у него иных-то добродетелей и не было.

А Лерку корежило, бесило, что такое ничтожество, выкормыш пристанционного, сажей покрытого поселка, читает дни и ночи книги, еще на немецком языке вроде бы может — брешет, конечно, да и сам чего-то тайком царапает на бумаге. «Экий Лев Толстой с семизарядным пистолетом, со ржавыми наручниками за поясом...» «Замолчи, примадонна!» — «Мусор! Легаш! Пес! Падла! И как еще там, на языке ваших дорогих клиентов?»

Злой памятью, как и многих современных женщин, бог Лерку не обидел. Литература утверждает: прекрасная женщина частицами разбросана во многих женщинах, плохая и

хитрая живет постоянно во всех. Ох уж эта литература! То совет, то правду скажет. Подказала бы вот людям, куда же это прекрасное, которого так много в девушках, девается в бабах?

И хорошо, и правильно, что разбежались. Нечего маять друг друга. Наслаждайся покоем, читай, пей чай из горлышка чайника, не давай «гардероп» с места двигать. Можно никуда не ходить, никого к себе не приглашать. Можно пол мыть, можно не мыть. Можно еду варить, можно не варить. Можно ходить по полу босиком и гладить себя по голове, можно бумагу ночами каракулями украшать, не озираясь, никого не стыдись. Творческая тайна! Да какая же это зараза! Так вот и шевелится что-то в голове, процарапывает крышку черепа мыслишками, они спать не дают, тревожат. Пользуясь полной бесконтрольностью и волей, однажды Леонид поставил на бумаге слово «Рассказ». Сперва испугался: ведь вывел то же самое слово, что и Чехов, и Толстой, потом по привычке. Примадонна долго глумилась, а он совершил грех — и сладко-сладко его сердцу стало. И боязно, и тревожно. Почти так же боязно, как тогда, когда Лавря-казак бросил его, десятилетнего, в речку Вейку и сказал: «Хочешь жить — выплывешь...»

В муках, в тайной творческой работе отвык бы он от Лерки, она от него, в мире прибавилось бы одной несложившейся семьей и одним ребенком-безотцовщиной больше. Но тогда-то вот, после разбега, и подстерегло его несчастье.

В Лерке не все было от мамы. Где-то, пусть и сбоку, пусть снаружи, к ребрам пусть, прилепились гены отца, а гены Сошнину всегда воображались разваренной лапшой из леспромхозовской столовки. В лапше той, опять же как мясо в столовском супе, жилка говяжья с воробьиный помёт величиной, оставленная борющимися со злоупотреблениями работниками пищеблока, путалось веками на Руси крепленное, всеми способами насаждаемое правило: не бросать человека в беде, и, пока есть на свете Маркелы Тихоновичи Чащины, правилу тому быть и нацию нашу крепить — Лерка выявила ошеломляющую самоотверженность: сперва потрясенно пялилась на мужа, потом хлопотала, роняя и разбивая что-то. Когда Грищуха Перетягин пришел ему ногу и Леонид проблевался, очухался настолько, чтоб хоть маленько что-то соображать, Лерка, прежде чем напоить его водой и бульоном, ультиматум ему: «Из милиции — на творческую работу». — «А кормить кто нас будет?» — «Я! — без промедления гаркнула самоотверженная Лерка. — Я! Родители наши! Сиди возле своего любимого папаши и твори. Картошки от пуза, мясо, молоко есть, что еще писателю нужно?»

Он оценил ее жертвы и в себе обнаружил ответную способность прощать — неужто и впрямь несчастье сделалось лучшим средством самовоспитания? Он и она простили друг друга, помирились, но из милиции Леонид не ушел, отшутился, как всегда, мол, если все уйдут на другую работу, пусть даже и на творческую, «химими» и за киоски не станут прятаться, на свету, принародно станут с людей штаны снимать.

И вот снова крыша седьмого дома в железнодорожном поселке, назначенного к сносу, но, слава богу, забытого среди великомасштабныхстроек, укрыла молодого художника слова от дождей и бурь. В таких вот домах только и прятаться от бурь и от жен, эгоистично надеясь: не так скоро наступит пора, когда старую квартиру надо будет менять на новую и переселять в нее Лерку с дочерью, аннулируя хотя бы часть задолженности перед семьей.

В часы и дни, особенно смутные, читал он одну и ту же книжку, подаренную ему профессором Хохлаковым Николаем Михайловичем, читал, как Библию, с любого места: протянул руку, достал с полки книгу, открыл и...

«Увы! Мои глаза лишились единственного света, дававшего им жизнь, у них остались один лишь слезы, и я пользовалась ими для той единой цели, чтобы плакать не переставая, с тех пор, как я узнала, что вы решились, наконец, на разлуку, столь для меня не переносимую, что она в недолгий срок приведет меня к могиле».

«Во люди жили, а?!» — почесал затылок Сошнин, когда первый раз читал эту книгу.

«Я противилась возвращению к жизни, которую должна потерять ради вас, раз я не могу сохранить ее для вас. Я тешила себя сознанием, что умираю от любви...»

Тут уж он перестал чесать затылок в задумчивости и от озадаченности погладил сам себя по голове и почувствовал, что письма монашки к своему возлюбленному втягивают его в какую-то уж чересчур непривычную, но в то же время чем-то манящую, томительно-сладкую муку. Он передернул плечами, стряхивая с себя наваждение вкрадчивой сказочки, настраиваясь внутренне сопротивляться ахинее, на которую покупался он в детстве... Но ныне-то... Он человек современный, грубошерстный, крепленный костью и жилами, работой в органах, отнюдь не смиренные, монашеские требы справляющий ночью и днем, он Урну в кутузку волочил, Демона обезвредил; пусть и неопытного, его писчебумажными штучками-дрючками не проймешь, он пусть изначально, пусть чуть-чуть, но и секреты слова познал, соприкоснулся, так сказать, с...

«...Могу ли я быть хоть когда-нибудь свободной от страдания, пока я не увижу вас. Что же? Не это ли награда, которую вы даруете мне за то, что я люблю вас так нежно. Но, будь что будет, я решилась обождать вас всю жизнь и никогда ни с кем не видеться, и я заверяю вас, что и вы хорошо поступите, если никого не полюбите... Прощайте. Любите меня всегда и заставьте меня выстрадать еще больше мук».

Сдаваясь все покоряющей воле или произволу слова, наслаждаясь, вот именно наслаждаясь музыкой, созданной с помощью слова, такого наивного, такого беззащитного, он полностью доверился этой детской болтовне и впервые, быть может, пусть и отдаленно, осознал, что словотворчество есть тайна.

Книжка состояла из пяти писем, дальше шли чьи-то дополнения, ответы на письма, подражания, стихотворные переложения, обширные комментарии. У него хватило ума не заглядывать в «зады» книги, не гасить в душе той музыки, которая не то чтобы ошеломила или обрадовала его, она подняла его над землей, над этим слишком грохочущим, слишком ревушим современным миром. Ему было не то чтобы стыдно, ему было неловко в себе, неудобно, тесно, что-то сдвинулось в нем с места, выперло вроде «гардероба», и, куда ни сунься, непременно мыслью или штанами за него зацепишься. Одна фраза трепетала, пульсировала, билась и билась жилкой на слабом детском виске: «Но как можете вы быть счастливы, если у вас благородное сердце?»

Бывшего «опера» порой охватывало подобие боязни или чего-то такого, что заставляло обмирать спиной, испуганно озираться, и во сне или наяву зрело твердое решение: пойти, отыскать французика, покинувшего самую в мире замечательную женщину, по-милицейски, грубо взять его за шкуру, приволочь в монастырскую тихую келью и ткнуть носом в теплые колени женщины — цени, душа ветреная, то, по сравнению с чем все остальное в мире — пыль, хлам, дешевка.

Глава шестая

Светка — хлипкое, современное дитя, подверженное простудам и аллергиям, — заболела с

приходом холодов. В деревне, на дикой воле, не утесненное детсадовскими тетями и распорядками дня, укреплялось дитя физически и забывало застольные церемонии, рисунки, стишки, танцы. Дитя резвилось на улице, играло с собачонками, дралось с ребяташками, делалось толстомордое, пело бравую бабушкину песню: «Эй, комроты, даешь пулеметы! Даешь батарею, чтобы было веселее...»

И вот снова, к тихой радости деда, к бурному и бестолковому восторгу бабки, прибыла болезная внучка в село Полевка. Молодой папуля устал за дорогу от вопросов дитяти, от дум и печалей земных, да еще ногу натрудил крепко: автобус далее Починка не пошел — механизаторы во время уборочной совсем испортили дорогу в глухие деревни, никто туда не ездил, да и не шел, по правде-то сказать. Когда Сошнин со Светкой шлепал по грязи, меж редких домов, просевших хребтом крыш по Полевке, к рамам липли старушечьи лица, похожие на завядшие капустные листья, — кто идет? Уж не космонавт ли с неба упал?

Поевши картошек с молоком, Сошнин, прежде чем забраться на печку — поспать и подаваться пехом в Починок, а из него в незабвенный Хайловск и потом на электричке домой, был вынужден выслушать все здешние новости и прочесть поданную тещей бумагу под названием «Заявление-акт»: «Товарищ милиционер, Сошнин Леонид Викентьевич! Как все нас, сирот, спокинули и нет нам ни от кого никакой защиты, то прошу помощи. Вениамин Фомин вернулся из заключения в село Тугожилино и обложил пять деревень налогом, а меня, Арину Тимофеевну Тарыничеву, застрашал топором, ножом и всем вострым, заставил с им спать, по-научному — сожительствовать. Мне 50 (пятьдесят) годов, ему 27 (двадцать семь). Вот и посудите, каково мне, изработанной, в колхозе надсаженной, да у меня еще две козы и четыре овечки, да кошка и собака Рекс — всех напои, накорми. Он меня вынуждает написать об ем, что, как пришел он ко мне в дом — никакого дохода нет от него, одни расходы, живет на моем иждивенье, на работу не стремится, мало, что пьет сам, на дороге чепляет товаришшеву и поит. Со мной устраивает скандалы, страшает всяко и даже удавить. Я обряжаю колхозных телят, надо отдых, а он не дает покой, все пьянствует. Убирайте его от меня, надоел хуже горькой редьки, везите куда угодно, хоть в ЛТПу, хоть обратно в колонию — он туда только и принадлежит. Раньше, до меня, так же дикасился, засудили его за фулюганство, мать померла, жена скрылася, но все ли я еще скрывала — доскрывалася, хватит! Все кости и жилы больные, и сама с им больная, от греха недосуг пить-есть, а он ревнует, все преследует и презирает. А чево ревновать, когда кожа да кости и пятьдесят годов вдобавок. В колхозе роблю с пятнадцати годов. Всю ночь дикасится, лежит на кровати, бубнит чево-то, зубами скоргочет, тюремские песни поет, свет зазря жгет. По четыре рубля с копейками за месяц за свет плачу. Государственную энергию не бережет, среди ночи вскочит, заорет нестатным голосом и за мной! Про три-четыре раза за ночь бегу из дому, болтаюсь по деревне. Все спят. Куда притулиться. Захожу в квартиру и стою наготове, не раздевшись — готовлюсь на побег. И об этом никто, даже суседи не знают, что у нас все ночи напролет такая распутная жизнь идет. И вас прошу меня не выдавать — еще зарубит. И примите меры, потихоньку увезите его подальше. Людоед он и кровопивец! Деревни грабит, жэншын забижает.

Надоумила к вам обратиться ваша мамаша, Евстолия Сергеевна Чащина, дай ей бог здоровья, и писала под мою диктовку она — у меня руки трясутся и грамота мала».

Это был не первый и не единственный случай в обезлюдивших селеньях. Забравшийся в полупустые бабьи деревни бандюга обирал и терроризировал беспомощных селян. Принимались меры, забулдыг выселяли или снова садили в тюрьму, но на месте «павшего» являлся новый «герой», и, пока-то дойдет до милиции такое вот «заявление-акт» или будет услышан бабий вопль, глядишь, убийство, пожар или грабеж.

Евстолия Сергеевна дополнительно к «акту» сообщила, что за рекой, в деревне Грибково,

оставались еще две старушки и деревня светилась окошком, дышала живым дымом. В одной избе жила упрямая старуха, не желающая ехать к детям в город. В соседней избе доживала век одинокая с войны вдова. На зиму старушки сбегались в одну избу, чтобы меньше жечь дров и веселее коротать время. По заказу местной хайловской промартели старушки плели кружева, и возьми да и скажи в починковском магазине, прилюдно, та старуха, которая в войну овдовела, теперь, мол, у нее душа на месте, на кружевах заработала копейку — на смертный день, и отойдет когда, так не в тягость людям и казне будет.

Прослышал Венька Фомин про старухины капиталы, переплыл в лодке через реку, затемно вломился в избушку, нож к горлу старухи приставил: «Гроши! Запорю!» Старуха не дает деньги. Грабитель ей полотенце на голову завязал и давай его вроде рычага палкой закручивать, голову сдавливать — научился уму-разуму в колонии-то. У старухи носом кровь, но она тайны не выдает. Да Венька-то местный вражина, трудно ли ему догадаться, где может храниться капитал. Сунулся за божницу, там, за иконами, и есть он, капитал-то, сто шестьдесят рубликов.

Неделю Венька Фомин пировал и диковал с друзьями-приятелями. Старушка-вдова собрала узелок, взяла батожок и подалась добровольно в хайловский Дом престарелых — доживать век на казенном месте, где и быть ей похороненной на казенный счет, под казенной сиротской пирамидкой.

По пути на Хайловск стояло село Тугожилино, на холме, за ольховым ручьем, летом часто пересыхающим. Много изб в Тугожилине обвалилось, стояло заколоченными, и лишь возле телятника еще копошилась жизнь, матерился пастух, рычал трактор, суетились две-три до сухой плоти выветренные бабенки, неотличимые друг от друга. Сошнин думал заскочить в Тугожилино накоротке, найти наглого разбойника, припугнуть его или забрать с собой и сдать в хайловское отделение. Но пришлось ему встретиться с Вениамином Фоминым в совсем не запланированные сроки.

Только Леонид разоспался, как тесть, Маркел Тихонович, бережно подергал его за рукав и, дождавшись, когда зять очнется от сна, сказал, что в Тугожилине Венька Фомин загнал в телятник баб, запер их на заворину и грозит сжечь вместе с телятами, если они немедленно не выдадут ему десять рублей на опохмелье.

— А, ч-черт! — ругнулся Сошнин. — Нигде покоя нету. — Надел изношенную, на ветрах, дождях и рыбалках кореженную шапчонку, старое демисезонное пальто — в свободное от работы время он всегда «залазил» в гражданское, — и на пробористом ветру, в мозглой стыни и сыри почувствовал себя так одиноко, заброшенно, что и приостановился, словно бы в нерешительности или в раздумье, но тряхнул головой и глубже, почти на уши, натянул шапчонку. Маркел Тихонович, провожавший его из Полевки со Светкой до грейдера по грязному, разжувльканиому выезду, угадав подавленное состояние зятя, предложил «мушшынскую помощь» — Сошнин отмахнулся от Маркела Тихоновича, приподнял дочку, ткнулся губами в ее мокрую щеку. — Возвращайтесь в тепло. — И пошлепал по жидкой грязи, закрываясь куцым воротником пальто от сыпучего дождя, в котором нет-нет и просекалась искра снега.

Дремля на ходу, он свернул на короткую дорогу, через поля и перелесок, спугивая с неряшливого и лохматого жнивья, по которому россыпью и ворохами разбросано зерно, отяжелевших ворон, диких голубей, стремительными стаями врезающихся в голые перелески. Прела стерня, прел недокошенный хлеб, будто болячки по больному телу пашни, разбросанные комбайнами, гнили кучи соломы, по рыжим глинистым склонам речки, ожившей от осенней

мокрети, маячили необрунные бабки льна, местами уже уроненные ветром и снесенные речкой в перекааты, и там, перемешанные с подмытыми ольхами, лесным хламьем и ломом, превращались в запруды.

Воронье, тяжело громоздящееся на гнущихся вершинах елей, на жердях остожий, черно рассыпавшееся на речном хламе и камешниках, провожало человека досадливым, сытым ворчанием: «И чего шляются? Чего не спится? Мешают жить...» Голые, зябкие ольховники, ивняк по обочинам плешивых полей, по холодом реющей речке, драное лоскутье редких, с осени оставшихся листьев на чаще и продранной шараге, телята, выгнанные на холод, на подкормку, чтобы экономился фураж, просевшие до колен меж кочек в болотину, каменно опустившие головы, недвижные среди остывших полей, кусты мокрого вереса на взгорках, напоминающие потерявших чего-то и уже уставших от поиска согбенных людей, — все-все было полно унылой осенней одинокости, вечной земной покорности долгому непогодью и холодной, пустой поре.

Возле тугожилинского телятника, в заветрии, под стеной, под низко сползшей крышей, бабенки, большей частью старухи, жались спинами к щелястым, прелым, но все еще теплым бревнам. Завидев Сошнина, они встрепенулись, загалдели все разом: «Злодей! Злодей! Нет на него управы. Вечный арестант и бродяга... Мать со свету свел... Он с детства экий...»

Сошнин заметил на крыше телятника сорванный лист шифера, сбросил с себя пальтишко, пиджак и, оставшись в фиолетовой водолазке, пижонски обтянувшей его от безделицы полнеющую фигуру, подпрыгнул, ухватился за низшую слегу телятника, взобрался на крышу, перебираясь рукой по решетиннику, спустился на потолок из круглого жердя, отодвинул пяток отесанных и загнанных в паз прогнутой матицы жердин, спрыгнул в помещение с едва теплящимися в проходе под потолком желтыми электролампочками, спрыгнул неловко, ударился больной ногой о выбоину в половице, приосел на скользкую жижу, запачкал брюки.

На темном полу, искрошенном в труху на стыках, в выдавленной из щелей никотинно светящейся жиже, стояли и тупо глядели на пришельца несколько больных телят, не мычали, корма не просили, лишь утробно кашляли, и казалось, само глухое, полутемное пространство скотника выкашливало из себя в сырую пустоту пустой же вздох без стопа, без муки. Ни к чему и ни к кому эти старчески хрипящие животные не проявляли никакого интереса, лишь вдали, где-то в заглушье, подал вялый голос теленок и тут же смолк в безнадежности, послышался едва слышный хруст, будто короед начал работать в бревне, под заболонью: теленок, догадался Сошнин по изгрыженным жердям перегородок, кормушек и стен, грыз прелое дерево скотника. Еще один теленок, сронив жердочку, вышел из размичканного в грязь загончика, лежал на склизкой тесине, а другой теленок, свесившись через перегородку, сосал или жевал его ухо, пустив густую, длинную слюну.

По скользкому коридору, с боков которого, словно на бруствере окопа, нагребен был навоз, Сошнин прошел в кормовой цех, отпер закрытых там, насмерть перепуганных женщин. Они завыли в голос и, обгоняя друг дружку, бросились из телятника в противоположную, приоткрытую дверь, возле которой на стоге свежеспавшего сена, утром привезенного на березовых волокушах с лесной деляны, безмятежно спал Венька Фомин.

Сошнин стянул его с воза, грубо потряс за отвороты телогрейки. Венька Фомин долго на него пялился, моргал, утирал рот рукой, не понимая, где он, что с ним?

— Ты ково?

— Я чево. Вот ты ково?

— Я тя спрашиваю, ты ково?

— Пойдем за ворота, там женщины тебе объяснят, ково и чево.

— Турист, пала! — взревел Венька Фомин и выхватил из сена вилы с ломаным черенком. Вилы древние, ржавые, о двух рожках, толсто обляпанных навозом, и среди них рыжие пеньки еще двух обкрошенных, словно выболевших, стариковских зубьев.

«Ох уж эта обезмужичевшая деревня! Все в ней не живет, а доживает...»

— Запорю, пала!.. — Венька пошел на Сошнина, держа вилы наперевес, словно пехотинец с винтовкой в бою.

— Брось вилы, мерзавец! — Сошнин двинулся навстречу Веньке Фомину, чем весьма его озадачил.

— Не подходи, пала, запорю! Не подходи! — заполошно визжал Венька Фомин, пятясь к задним полуоткрытым воротам телятника, чтоб, бросив вилы, ушмыгнуть в притвор, скрыться в родных полях и перелесках.

Сошнин отсек злодею путь к отступлению, прижимая его в угол. Венька Фомин был телом и лицом испитой, в ранних глубоких морщинах, подглазья — что голые мышата с лапками, пена хинным порошком насохла в углах растрескавшихся губ. Больной, в общем-то, уже пропащий и жалкий человек. Но пакостный, зло пакостный, и от него можно ждать чего угодно.

— Брось вилы! — рывкнул Сошнин и подпрыгнул к Веньке Фомину, держа руку наперехват.

Венька Фомин, прижавшись спиной к стене, поднял вилы, как бы загородившись ими. И тут бы свалил его подсечкой Сошнин, отнял бы вилы, дал бы по шее разок — за всех обиженных и угнетенных и повел бы в Починок, на автобус, да возле ворот нарывом наплыла навозная жижа, припорошенная сеной трухой. Привыкший к твердой, опористой обуви — яловым сапогам, к двум твердым, пружинистым ногам, Сошнин в узконосых штиблетах поскользнулся хромой ногой, неловко упал на руку — и сработала, сработала подлая натура лагерника — бить лежащего. Венька Фомин коротко ткнул вилами. Сошнин мгновенно ушел от удара в грудь, но вилы все же достали его, и ржавый рожок как бы нехотя с хрустом вошел в живое тело, в плечо, под сустав. Венька Фомин по-шакальи оскалившись, надавил на вилы, приколот Сошнина к коричневой гнилой плахе.

Рывком вскочив, Сошнин схватился за обломыш черенка вил, пытаясь их выдернуть. Боль пронзила его, повязала.

— Говорил, не лезь, пала! Говорил, не лезь... — вжимался в угол перепуганный Венька Фомин, вытирая разом вспотевшее лицо и губы запястьем руки. Высохшая пена крошилась, опадала перхотью с треснувших губ, застревала в реденькой беспородной щетине Веньки Фомина.

— Вытащи вилы, гад! — с глухим отчаянием закричал Сошнин.

Дальше все свершалось в заторможенном удалении. Венька Фомин несколькими малосильными рывками, молниями рассекавшими голову Сошнина, выдернул вилы, и Леонид увидел на ржавом зубце сгустки крови, нечистые сгустки на нечистом, словно пластилином облепленном, зубце, пошатнулся, зажал рукой брызнувшую кровь, уперся лбом в стену, тоже пахнущую мочой и тошнотворным силосом. Малость отдышавшись, он достал носовой платок,

сунул его под водолазку, натянул на платок лямку майки. Мгновенно пропитавшийся кровью платок скользко понесло с плеча на живот.

— Давай платок! — не глядя вытянул Сошнин руку. Венька Фомин сунул ему затасканный, серый комочек. — Что ж ты наделал, скотина! — простонал Сошнин, бросая грязную тряпицу в плаксиво-угодливую морду Веньки Фомина, и кинулся на свет, зажимая рану.

Бабы-скотницы увидели уже далеко за телятником бегущих друг за другом по грязи Сошнина и Веньку Фомина, подумали, что бандюга гонится за человеком, чтобы его зарезать, завыли в голос. Надо было вернуться к телятнику, надеть пиджак, пальто, надо было бежать в Полевку, просить Маркела Тихоновича запрячь лошадь. Но лошадь может оказаться в лесу или на силосных ямах, а то и на жнивье пасется, начнут всем полевым народом причитать, ловить, запрягать, потеряется дуга или хомут, у телеги вывалится штырь, колесо спадет среди грязи с оси, завязнут на выезде или среди проселка. У Маркела Тихоновича «к груди подопрет», сама Чащиha, как всегда, выступать примется, отыскивая врагов, Светку перепугают и, чего доброго, с собой возьмут...

Не только носовой платок, но и майка кисельным, липким сгустком сползла к поясу. Кровь пропитала водолазку, ожгла бедро, зачавкала в левой штиблетине. У раненого начали обсыхать губы, во рту появился привкус железа. «Так быстро! Худо мое дело...»

— Помогай! — сорванно прохрипел Сошнин.

Венька Фомин суетливо подставился, захлестнул руку Сошнина на своей тощей шее — видел в кино или на фотографиях, недоумок, как выносят раненых с поля боя.

— О-о-ой, пала, попался-а... Опять попался! — выл он. — Так от тюряги, видно, мне никуда и не уйтить. Доля моя, пала, пропащая... — С Веньки Фомина катился слабосильный пот. В немощных грязных струях пота дрожала сенная труха, и, когда касалась губ, он слизывал грязную смесь и, забыв ее сплюнуть, глотал горечь, продолжая выть и при читать.

Ноги Сошнина слабели, свет серел, шевелился, плыл рыбьей слизью перед глазами. Его мутило от запаха Венькиного грязного пота, от дури назьма, от горькости сена, душило скипидарной остротой телячьей мочи или человеческой — разбойник Венька Фомин, жравший всякую всячину, вплоть до разведенного гуталина и пудры, давно сжег почки и ходил в прелых портках. Запахи не слабели, не рассасывались на холодном ветру, наоборот, все плотнее окружали Леонида, клубились над ним и в нем, поднимая из разложья груди поток рвоты.

...На дверях починковского медпункта висел древний амбарный замок. Воскресенье. Злодей и пострадавший постояли в обнимку перед дверью, прерывисто дыша, обреченно глядя на замок. Венька усадил Сошнина на крылечко, прислонил к стене, заботливо набросил на него свою, псиной пропахшую, телогрейку.

— Я чичас... чичас, чичас... Я ее, палу, с-под земли достану! С-под егеря выташшу, коли он на ей охотничат... Чичас, чичас...

Никто на фельдшерицу не охотился, она ни на кого не охотилась, в годах уже была, и, как положено равноправной женщине, в усладу использовала воскресный день — стирала, мыла, прибиралась. И в медпункте у нее был полный порядок, и лекарства необходимые были: йод, бинты, вата, даже спирту пузыречек не выпит. И сама фельдшерица чиста, обиходна, хоть заметку про нее пиши в газету. Хвалебную. Вот выздоровеет и напишет! — этот вялый проблеск юмора последний раз посетил в тот день всегда склонную к иронии, последнее время — самоиронии, творчески настроенную голову иль душу Сошнина.

Фельдшерица, сноровисто и ловко перевязывавшая Сошнина, мигом сняла с него склонность к легкому настроению, которым пострадавший пытался подавить в себе страх, слабо надеясь, что положение его не столь уж и опасно, чтоб впасть в панику.

— Ой, какая грязная рана! Пузырится... кровь пузырится... Плевра задета. Кто это вас? Неужто ты, недоносок?! — воззрилась фельдшерица на Веньку Фомина, измученно отдыхающегося на пороге медпункта и «впритырку» — лагерник же! Штатный уже! — покуривающего в рукав. — Милиционера! При исполнении!.. Будет тебе, будет!.. — И помогла лечь Сошнину на топчан, прикрыла его, ознобно дрожащего, простынею, половичком и сверху своим давно из моды вышедшим болоньевым плащиком...

— Он че, милиционер?!

— А ты не знал! — держа руку поверх одежонок, чуть прихлопывая раненого, точно ребенка, со злой неприязнью сказала фельдшерица.

— Да откуль?

— Зять Чащиных, с Полевки.

— Ой, пала! — взвыл Венька. — Че его в Тугожилино-то принесло? Дуба даст... К стенке ж...

— Такому давно к стенке пора. Выдь на улку курить, часотошный.

Из хайловской больницы ответили — нет бензина, да и воскресенье, да и вообще в сельскую местность они не обязаны посылать машины «скорой помощи». «Надо, так везите больного на своем транспорте».

Хайловск говорил с сельским фельдшером надменным голосом столицы; Сошнин подтянул к себе телефон, позвонил на квартиру начальника райотдела, Алексея Демидовича Ахлюстина, попросил помочь бензином и приказать «скорой» доставить его в областную больницу.

— Рана опасная, Леня?

— Кажется, опасная, Алексей Демидович.

— Всех на ноги подыму!

Ахлюстин примчался на машине «скорой помощи» и, увидев Веньку Фомина, затрясся от гнева:

— Сморчок ты, сморчок! Пакость ты, пакость! Зачем же ты на свет-то явился? Изводить полноценный народ! Ах, алкаши вы, алкаши, погубите вы державу...

Сошнина поместили в салоне машины на носилках. Фельдшерица накрыла раненого одеялом, принесенным из дома, села в головы его. В эту же машину намерились было втолкнуть и Веньку Фомина, чтоб сразу его сдать в СИЗО — областной следственный изолятор.

— Гражданин начальник! Гражданин начальник! — взмолился Венька Фомин, упираясь руками в раскрытую машину. — Додушит дорогой! Он может... Он почти без памяти...

— Говорю — мразь! Эко дрожит, пащенок, за свою жизненку. Ну, Леня! — отечески погладил по груди Сошнина Алексей Демидович. — Крепись, Леня. — И развел руками по-стариковски

несуразно и картинно. Поняв это, набылчился, отвернулся, избегая привычных философских изречений, — так они тут были неуместны.

Совсем уж было тронулись, как вдруг, разбрызгивая грязь, примчался на мотоцикле всадник в очках, в горбатом комбинезоне, на ходу, считай что, спрыгнул с мотоцикла, заскочил в машину «скорой помощи», причитая голосом Паши Силаковой:

— Леня! Леонид Викентьевич! Да что же это такое?! А-ах ты, пас-скуда! А-ах ты, вонявка!.. Да я ты!.. — бросилась она на Веньку Фомина, свалила злодея в грязь, села на него верхом и принялась волтузить.

Алексей Демидович едва отнял Веньку Фомина и, волоча его, смятого, грязью обляпанного, к сельсовету, махнул рукой — поезжайте, мол, поезжайте. Паша Силакова все налетала сзади и отвешивала Веньке Фомину пинкарей здоровенными сапогами. И с сапог или от зада волочимого злодея, будто в замедленном кино, летели ошметки грязи и назьма. Венька Фомин, как дитя от родительского ремешка, пытался прикрыть зад ладонями.

— Да поезжайте же! — простонал Леонид.

Паша Силакова, pinaющая Веньку Фомина, собственный стон и слова: «Да поезжайте же!..» — было последним, что въяве слышал и помнил Леонид. На грейдере и по склонам логов, размытых осенними дождями, лужи, лужи, в выбоинах под грязью склизкий лед. Било, подбрасывало, трепало машину на пустынной, всеми забытой дороге. Раненый погрузился в тяжелое забытьё. Виделась ему раздавленная крыса. В Вейске во время дежурства он часто ходил в блинную, расположенную в самом центре города, но в тихом переулке и оттого малолюдную. Здесь работали весе лые румяные девки в пышных капорах из марли. Они не жалели для Сошнина масла, подсушивали блины на сковородке до хруста — как тетя Лина.

Едут однажды милиционеры на дежурной машине по зеленому переулку и зрят: из старого, подгнившего дома через переулок в блинную шествует огромная, пузатая крыса с гусарскими усами. Шофер прибавил скорость, крыса смертно взвизгнула. К вечеру на земле остался клочок шкурки: городские санитары — вороны склевали падаль. С тех пор Сошнин не заходил в блинную, и стоило ему ее вспомнить — являлась дородная, брюхатая крыса — и его начинало выворачивать. В пути от Починка выворачивало так, что начались спазмы в сердце. От приступов рвоты пузырилась из раны кровь. Раненый ослаб за дорогу до того, что весь до горла погрузился в желтую навозную жижу и каким-то, ему уже не принадлежащим усилием вздымал голову, не давал захлестнуть жарко распахнутый рот вонючим потоком, но с крысой ничего поделаться не мог — она все визжала и визжала под ним, особенно громко на разворотах, почему-то рожая и рожая мокрых, голых крысят.

Выехали на асфальт, крыса смолкла, но отделилась от туловища голова, загремела по железному полу, катаясь из угла в угол. Вот и голова хрустнула под колесами, правда, без визга, и осталась на растрескавшемся асфальте, бескровная, с открытыми живыми глазами. Возле дороги, на вершинах черных елей сидели черные вороны, чистили клювы о ветки, собираясь расклевывать голову. Начнут они ее с глаз, с живых, серо-голубоватых, с детства ведомых Леониду глаз русского северянина.

— Голову!.. Забыли мою голову! Голова-а-а-а! Подбе-ри-и-ите-э!

Ему казалось, он кричал так громко, что его слышно даже воронам, и, спугнутые криком, они разлетятся, не тронут голову. Но он лишь слабо шевелил губами, истерзанными до мяса. Что-то прикасалось к ним, обжигало рот, пронзало ноздри, ударяло в то место, где должна быть

голова, и он хотя бы на короткое время получал передышку, сознавая, что жив, что голова с ним, на месте.

Но вот на месте головы замелькал свет милицейской мигалки-вертушки, но не синим и не красным светом моргала вертушка, а почему-то иавозно-желтым, и снова задирали раненый лицо, не давал жиге залить рот, ноздри, но желтые валы наплывали неумолимо, медленно, будто сера из подрубленного дерева. Слепляло рот Леонида, склеивало нутро, душило и душило горло, судороги от нехватки воздуха скрючивали его, вязали в узел, рвали жилы.

Навалившись негрузным телом на Сошнина, не в силах успокоить, удержать конвульсии раненого тела, деревенская фельдшерица заливалась слезами:

— Миленький... Миленький... — умоляла, просила, криком кричала фельдшерица. — Не мечись! Не мечись! Успокойся! Кровь... шибчеe кровотечение. Миленький... миленький... Скоро. Город скоро. Миленький... миленький!.. Сколько в тебе силы-то! Ты выживешь. Выживешь...

Глава седьмая

Очнулся Леонид через сутки после операции, которую делал все тот же незаменимый Гришуха Перетягин, но уже вместе с бригадой помощников, в той же хирургической палате, в которую попадал Сошнин с поломанной ногой. Лежал на той же койке, возле окна. За окном, знал Леонид, есть сохлая ветвь старого тополя, и к ней прикреплен, точнее, ввинчен в нее «стакан» радиопроводки. От «стакана», от ржавой резьбы кованого крюка, радостными проводчиками всаженного сюда, должно быть, еще в первой пятилетке, и засохла ветка дерева. Опутанный проводами, обставленный склянками, Сошнин хотел и не мог пошевелиться, чтоб увидеть знакомый тополь, знакомую на нем хрупкую, как кость, ветку и на ней белый-белый «стакан», выросший в плоть дерева.

По прикосновениям рук и по запаху волос, которые касались его лица, порой залепляя рот, затем и глазами, через колеблющийся, туманом наплывающий свет, он узнал Лерку. Она попоила его из ложечки. Издалека донесло до него голос. Сообщалось: больной открывал глаза. Чтобы доказать себе, что он их действительно открывал и может их открывать, Леонид произвел в себе огромную работу, с большим напряжением сосредоточился, стянул в одно место все, что в нем слышало, ощущало и жило, — увидел тополь за окном, и одинокую сухую ветку, и на ней белый-белый «стакан». Будто рука в драной перчатке протянула ему большой кусок сахара, ни с какого бока не обколото, снежного, зимне-праздничного, сладкого. Осенним ветром шевелило, снимало остатки коры с отжившей ветки, но выше нее еще билась россыпь примерзлых листьев, не успевших отцвести и опасть на землю. Малая птаха, синица или щегол, — но тот ведь на репьях осенями жирует, — выбирала козявок, на зиму упрятавшихся в коре и в листьях, неторопливо обшаривая ствол, ветви, и, когда клевала стерженок листа, он, потрепетав, отваливался, мерзлый, тяжелый, без парения, с пугающим птицу жестяным звоном падал вниз, и птаха отпархивала в сторону или вверх, провожая зорким глазом лист. Успокаивалась и снова начинала кормиться.

«И так вот всю жизнь! В поисках корма, в хлопотах, в ожидании весны. Прелесть-то какая!..»

Почувствовав взгляд человека, птаха прекратила поиск, кокетливо склонив головку с детски сытенькими, лимонно-желтыми щеками, глянула на него через стекло и тут же успокоенно продолжила работу, поняв, что от немощного человека нет ей никакой опасности.

— Пы... пы... пти-чка! — прошелестел едва слышно Леонид и заплакал, поняв, что видит живую

птичку и она его видит. Живого.

Еще через сутки он спросил, не открывая глаз:

— Иде я?

— Идея все та же: побеждать зло, утверждать добро. — Сквозь заложенные уши, через туго и плотно натянутые перепонки, все еще издали пробился к нему голос Лерки.

Он проморгался, осмотрелся. Прямо от жены, от Лерки, к нему, к мужу, протянуты толстые провода! Они навеки крепко связаны.

К нему начал возвращаться юмор. Об семье! Самая это юморная нынче тема. По трубочкам сочилось что-то светлое, каталось бусами круглых пузырьков. Провода выглядели вынутыми из мертвого тела жилами, но шарики в стеклянных трубочках катились весело и живо. Тоже хорошо. Просто так хорошо. Без юмора. Это что же получается: как ему пришили ногу, так он отсюда и не уходил, что ли? Или его вновь изуродовали?

А-а, Тугожилино. Телятник. Женщины. Венька Фомин... «Да что же это такое? Бьют и бьют. Калечат и калечат... Когда же этому конец будет?» Жалко себя сделалось Леониду, вновь его на слезу повело. Он хотел отвернуться, да невозможно — проводами опутан, держат они его, и сил нету. Лерка, не спавшая две ночи, увидев слезы на лице мужа, тоже закрылась рукой, но слезы просочились сквозь ее пальцы.

— Ты когда-то сложишь удалую голову! — ругалась Лерка, хорошо ругалась. Слушал бы и слушал. Вообще все и всех слушал бы, на все и на всех глядел бы и глядел — такое это счастье! — В деревне, Богом, начальством и людьми забытом углу, обезвредил преступника! У нас везде есть место подвигу, да? Чуть не подох!

Он с трудом поднял руку, опустил ее на Леркино колено, вспомнил его, крепенькое, круглое, высвеченное солнцем, там, в леспромхозовском общежитии, давно-давно, в какой-то жизни, в каком-то веке. Передохнув, нащупал ее пальцы, попробовал сжать их.

— Там, в том углу, тебя... дуру...

— Встренул, — подсказала она.

— Аха!

— И что же? Я встретил вас, и все бывшее в отжившем сердце ожило?..

— Аха, ожило!

— Ну, ты даешь! На ласки повело жестокого опера. В лирику бросило. — Лерка отвернулась к окну, смаргивая слезы. — И правда, птичка! — удивилась она. — Ну, зорек, орел! Ну, приметлив! Ума бы еще маленько, и был бы мужик хоть куда!

— Я и так чересчур умный, и от ума жить мне как-то неловко, ум большой, одежда тесная, рукава короткие, штаны до колен.

— Ври больше! Умных на ржавые вилы не сажают. Умных, да еще и писателей — из пистолетов бьют.

— Будь я в форме... Он за туриста-интеллигента меня принял... иконы да прялки которые вышаривают... — Подышал: некуда торопиться-то, а поболтать так охота, давно с женой не болтал. — Интеллигенты что? Их должно резать или стричь...

— Нельзя тебе много шутить. На шутки умственность и сила тратятся. У тебя ни того, ни другого...

— Как я хочу жрать, старуха.

— О-о! Вот это другой разговор.

Выкарабкался! И на этот раз выкарабкался! На третий или на четвертый день пришла «подвыться» на родственника румяная, только еще начинающая полнеть повариха из больничной кухни — от нее перелили Сошнину кровь — оказалась нужная ему группа.

Остановившись в отдалении, дивчина поздоровалась:

— Здоровеньки были! Ну, як воно, здоровячке, товарищу лейтенант?

Сошнин сделал невероятное над собой усилие, чтобы не расплакаться снова, поманил дивчину к себе:

— Подойдите. Подойдите поближе! — сердце Сошнина сорвалось с места: «Да ради таких вот...» — Здоровье мое... налаживается. — Он взял руку поварихи и поцеловал до жил измытые, выеденные крахмалом и уксусом пальцы, пахнувшие луком и еще чем-то родным, тети Лениным, тети Граниным. Подкопив силенок, он и в щеку поцеловал дивчину, в тугую, румяную, чуть изветренную щеку, чем окончательно смутил ее, и, чтобы развеять смущение, указал на улыбающуюся сквозь слезы Лерку. — Это моя жена! Без пережитков жена. Не ревнивая, потому как современная...

Полтора месяца в больнице, еще месяц по больничному — и инвалидная группа. Пока на год. Что дальше? Конечно, горотдел большой, да и областное управление внутренних дел — предприятие разнообразное, в каком-нибудь закутке найдут ему тихую, неопасную работу, на доживание до пенсии по старости. Но зачем она ему? Кто побыл на фронте разведчиком, сказывал Лавря-казак, плохо приживался в другом месте, в других частях. Тот, кто поработал в уголовном розыске на оперативной работе, туго воспринимал тишину и оседлость.

Показательный суд над Венькой Фоминым наметили было провести в деревне Тугожилино. Отперли давно не действующий тугожилинский клуб, но он так промерз и такие в нем были полуразвалившиеся печи, что решено было переехать на центральную усадьбу, в починковский поссовет. Дом культуры закрыт — его еще летом начали ремонтировать наезжие с Карпат шабашники и затанули работу.

Пока подсудимого возили да водили туда-сюда, успели шустрые бабенки «незаметно» переодеть Веньку Фомина в чистое, покушать ему спроворили и даже выпить. Подруга Веньки Фомина, Арина Тимофеевна Тарыничева, все обиды простила ему, норвила быть поближе к «сердечному зазнобе», незаметно совала в карман сигареты, спички, конфетчки в замусоленных обертках.

Народу на суд навалило видимо-невидимо! Со всех окрестных деревень, одевшись в праздничное, ехали на велосипедах, мотоциклах, гармошки зазвучали, выпивохи объявились. Скучно и монотонно живущий по полуопустевшим деревушкам люд был рад любому случаю

собраться вместе, посудачить, расспросить друг друга о житье-бытье. Понимая, что причиной людского возбуждения является он, подсудимый держался гоголем, шибко жестикулируя, рассказывал что-то бабенкам, уловив момент, подошел к пострадавшему, хлопнул его по плечу по раненому и поинтересовался здоровьем. Венька Фомин знал от Арины — человек чуть не умер, на пенсию угодил — и, царапая затылок, хохотнул, лучше б, мол, было, если б Сошнин ткнул вилами его — получал бы пенсию товарищ Фомин, гужевался в свое удовольствие, а Сошнин имай преступников да имай.

— Вопше, извини! — посерьезнев, заключил Венька Фомин. — Не знал, што ты здешный. Здешных мужиков я берегу. Их мало.

Во время суда Венька Фомин был деловит, ревниво следил за тем, чтоб процесс шел по всем правилам, поправлял судью, заседателей, обвинителя и адвоката, если они что-то процессуальное нарушали или говорили не по уложению и кодексу. Уяснив, что Венька Фомин на практике постиг сложное дело судопроизводства, народ уважительно его слушал — голова умная у человека, раз такую сложную науку превзошла, рассуждали бабы, да только вот дураку досталась.

Суд шел долго, канительно. Бабы-свидетельницы путали показания, которые от бестолковости, которые по наущению Арины Тарыничей, чтоб Веньке Фомину меньше дали. И разнесся уже слух, что присудят ему три года, пошлют «на химию», потому как трудовых кадров нигде не хватает.

Но Сошнин знал: Веньку Фомина засудят на большой срок — третья судимость, и поднахватал он статей, одна хлестче другой, и отвалили подсудимому десять лет строгого режима. Он сразу протрезвел, заутирался рукавом, мелко затряслась рубаха на его спине. Бабы завывали в голос. Когда подсудимому предоставили последнее слово, он слабо махнул рукой. Арина Тарыничева, оттолкнув конвоира, с ревом бросилась на шею Веньке Фомину. Какой-то нездешний громила пьяно гудел: «Н-ниправельный экзамин! Фик-са! Чалиться в академии червонец? За что? Пришмотил лягавого? Их на наш век хватит. Н-ниправельный экзамин! Я не один задок имел, знаю, что за мокрятник полагается. Кассацию пиши, кореш. Не поможет — брызни!..»

Леонид вылез из духотищи поссовета, ушел на берег реки, в редкий соснячок, и оттуда видел, как увозили Веньку Фомина. На ходу, в суতোлке подконвойного успели «освежить» сердобольные бабенки, он обнимал зареванную покорную Арину Тарыничеву.

— Жди меня, и я вер-р-р-нусь, всем чертям назло! — грозя своим костлявым кулаком, кричал в сельские пространства Венька Фомин. — Все ждите! Я, пала, покажу кой-кому, как рога сшибают! Я, пала, научу кой-кого свободу любить...

Леонид пообедал у Паши Силаковой и, не побывав у тестя с тещей, уехал в Хайловск на попутной, оттуда в полупустой, дремной электричке катил по родным болотистым местам, смотрел в окно на давно привычные, такие мирные, так прибранно зимой глядящиеся поля, деревушки, полустанки, путевые будки, на редко и черно торчащие в белых болотах дерева, на голотельные осинники, на пестрые березы, глядел, полностью отдавшись глубокой и уже постоянной печали. Нет, ему не жалко было Веньку Фомина, но и торжества он тоже никакого не испытывал, тем паче злого. Работа в милиции вытравила из него жалость к преступникам, эту вселенскую, никем не понятую до конца и необъяснимую русскую жалость, которая на веки вечные сохраняет в живой плоти русского человека неугасимую жажду сострадания, стремления к добру, и в той же плоти, в «болезной» душе, в каком-то затемненном ее закоулке, таилось легковозбудимое, слепо вспыхивающее, разномысленное зло.

...Молодой парень, недавно кончивший ПТУ, пьяный полез в женское общежитие льнокомбината, бывшие там в гостях кавалеры-«химики» не пускали молокососа. Завязалась драка. Парню набили морду и отправили домой, баиньки. Он же решил за это убить первого встречного. Первым встречным оказалась молодая женщина-красавица, на шестом месяце беременности, с успехом заканчивающая университет в Москве и на каникулы приехавшая в Вейск, к мужу. Пэтэушник бросил ее под насыпь железной дороги, долго, упорно разбивал ей голову камнем. Еще когда он бросил женщину под насыпь и прыгнул следом, она поняла, что он ее убьет, просила: «Не убивайте меня! Я еще молода, и у меня скоро будет ребенок...» Это только разъярило убийцу.

Из тюрьмы молодчик послал одну-единственную весть — письмо в областную прокуратуру — с жалобой на плохое питание. На суде в последнем слове бубнил: «Я все равно кого-нибудь убил бы. Что ли я виноват, что попалась такая хорошая женщина?..»

...Мама и папа — книголюбы, не деточки, не молодяжки, обоим за тридцать, заимели трех детей, плохо их кормили, плохо за ними следили, и вдруг четвертый появился. Очень они пылко любили друг друга, им и трое-то детей мешали, четвертый же и вовсе ни к чему. И стали они оставлять ребенка одного, а мальчик народился живучий, кричит дни и ноченьки, потом и кричать перестал, только пищал и клекал. Соседка по бараку не выдержала, решила покормить ребенка кашей, залезла в окно, но кормить уже было некого — ребенка доедали черви. Родители ребенка не где-нибудь, не на темном чердаке, в читальном зале областной библиотеки имени Ф. М. Достоевского скрывались, имени того самого величайшего гуманиста, который провозгласил, да что провозгласил, прокричал неистовым словом на весь мир, что не приемлет никакой революции, если в ней пострадает хоть один ребенок...

...Еще. Папа с мамой поругались, подрались, мама убежала от папы, папа ушел из дома и загулял. И гуляй бы он, захлебнись вином, проклятый, да забыли родители дома ребенка, которому не было и трех лет. Когда через неделю взломали дверь, то застали ребенка, приевшего даже грязь из щелей пола, научившегося ловить тараканов — он питался ими. В Доме ребенка мальчика выходили — победили дистрофию, рахит, умственную отсталость, но до сих пор не могут отучить ребенка от хватательных движений — он все еще кого-то ловит...

Жить можно по-разному, хорошо и плохо, ладно и неладно, справно и несправно. Вот его напарник по спецшколе и многим дежурствам, Федя Лебеда, жил справно и ни разу не то что не ранен, но даже не поцарапан. На пригородном участке у него дача почти в три этажа, да вся в резьбе, каминчик даже есть, в керамическом ободке, и керамика цветом, формой и колером напоминает ту же, какую безвкусно, зато дорого облицовано здание областного управления внутренних дел. На даче Феде Лебеде много музыки, цветной телевизор, машинешка, хоть и «Запорожец», но все же своя — все, как у добрых людей, и все как будто не уворовано, не унесено, все на бедную милицейскую зарплату приобретено. «Жить надо уметь!» — заявляет с вызовом Тамарка, жена Феде Лебеде, работающая официанткой в ресторане «Север». Хорошо хоть, увлеченная собой, искусством и чтением Маяковского, а может, из-за «надежных тылов» в селе Полевка, Лерка не внимала этому лозунгу. Ну, не то чтоб совсем не внимала, просто не придавала того первостепенного значения ему, как та бедная женщина, которую Сошнин видел года три назад в электричке тоже. Она сидела против него и почти всю дорогу плакала, навалившись на стенку вагона головой, утираясь сперва носовым платком, затем, когда платок намочил и просолел, суконной косынкой, постепенно стягивая ее с беловолосой головы, как бы сваливающейся в шерсть и неряшливой от давней завивки.

«Простите, — сказала женщина, перехватив взгляд Сошниина, и, немножко поправив волосы и себя, добавила: — Мужа я погубила. Хорошего человека...» И снова захлебнулась слезами. Но ей хотелось выговориться, и она рассказала, в общем-то, очень простую историю, до того

простую, что хоть вой в голос от ее простоты.

Жили да были муж с женой. Скромные советские служащие, со скромной зарплатой, скромными возможностями. Много работали, любили друг друга. Пока не народились дети, дочка с сыном, бегали в киношку, хаживали в театр, по воскресеньям — на реку, зимой — на лыжах за город. Читали не очень чтобы много и не очень чтобы «настоящее», но читали, телевизор смотрели, за хоккей болели. Хорошо было им: росли дети, время катилось незаметно в трудах да в заботах. Но вот она стала замечать во дворе машины, за городом дачи, в квартирах друзей и знакомых ковры, хрусталь, магнитофоны, модную одежду, красивую мебель...

И ей тоже захотелось этого, и стала она подбивать мужа перейти на другую, более добычливую должность. Он уперся. Она его разводом стращать, разлукой с детьми. Перешел муж на добычливое место и хоп — приносит домой денег сверх зарплаты, аж на цветной телевизор! Во второй раз принес денег на целый ковер, а в третий раз... домой не вернулся. И ждать его теперь придется пять лет...

Вот была она у него в колонии, на первом свидании, привезла первую передачу. «Смотри, смотри на мужа-преступника! Любуйся! Ты этого хотела!..»

«Я на колени перед ним, руки и ноги его целовала, а он от меня отвернулся, ни на что не реагирует, не плачет. Передачу не взял. Велел год хотя бы не показываться на глаза. Напоследок только и сказал, что детей своих ему жалко...»

Да-а, жизнь разнообразна, и жить в ней можно разнообразно. Вот совсем недавно, Сошнин уже был на пенсии, ночью сработала сигнализация в новом районе, в новой сберкассе, где и денег-то почти не было. Федя Лебеда, потихоньку, полегоньку из угрозыска перебравшийся в ГАИ, затем во вневедомственную охрану, поехал на сигнал с молодым, только что окончившим училище сотрудником. У Феде Лебеде оружие, и все же к кассе пошел молодой, безоружный сотрудник милиции. Подходит, видит: в дверях ковыряется человек. И, как водится: «Ваши документы, гражданин!» Тот отвечает: «Шшас!» Лезет за пазуху, вынает пистолет и в упор тремя выстрелами валит милиционера.

Федя Лебеда, значит, живой, здоровый. В объяснительных объясняет, что объект-то совсем не опасный и кто ж его знал, что у обормота безмозглого есть оружие. Федя Лебеда был капитаном, стал старшим лейтенантом и сегодня дежурит по отделению; со спокойной, охранной работы его передвинули на «неспокойную», но он и здесь будет работать по принципу: «Нас не трогай, мы не тронем»... И до майора, а то и до полковника дослужится. Молодой же парень сразу получил вечное звание — покойничек, потому как глупый был, по тайному, твердому определению Феде Лебеде. Сошнин с Федей учился, долгое время работал, и мыли и дела его нехитрые, уверенность в их незыблемой правильности знал он наперед. Хорошо, хоть родился Федя Лебеда в годы, не подходящие для войны, он бы, попади на фронт, не одного молодого дурака подставил под пули вместо себя и потом даже не вспомнил бы о них.

«Такая вот картина жизни», — заключил Леонид словами Алексея Демидовича Ахлюстина. «Се ля ви, трудно поддающаяся теоретическому анализу», — глаголет интеллектуалка Сыроквасова. «Эх, жизнь кубекова, обнял бы, да некого!» — вздыхает Лавря-казак. «В ей, в жизни, завсегда, как на рыбалке: то клюет, то не клюет...» — Эта философия дяди Паши, пожалуй что, самая близкая к действительности и, главное, доходчивая.

Намотавший сто двадцать лет сроку тип, начавший молиться Богу и учиться грамоте в вечерней школе родной колонии очень строгого режима, находящейся во-он за тем лесом, в торфяных болотах; Паша Силакова, гоняющая на мотоцикле по сельским просторам пуще юноши; тесть Маркел Тихонович, не пришедший на суд, чтобы «не разостраиваться»; теща, явившаяся в Починок в парадном костюме, капроновых чулках, всем своим видом показывающая, что судят не того и не так, как надо; народ, воспринимавший судебское действие словно переживательный спектакль, — все-все это жизнь, в которой «то клюет, то не клюет», веселая, беспечная, немысленно суровая, непостижимо сложная и простая, как те вон, пролетающие мимо окон электрички, тихие деревушки, леса, болота, медленно удаляющиеся сонные унырки в лес, собака, рвущая цепь у путевой будки, готовая укусить электричку.

Между тем Венька Фомин, измотанный судом, сморенный усталостью в пути и вином, спит за загородкой городской тюремной машины и ни о чем не думает, папы и мамы несчастных детей, пэтэушник, сгубивший юную мать, длиннее своей жизни мотающий срок знаменитый зэк с отстреленной в побеге рукой, в богоискательство ударившийся, — все-все это было до них и будет после них, — все это жизнь, товарищ Сошнин. Вот и осмысли ее, поднимись до понимания всей правды жизни, иначе зачем и для чего, не умея в руках держать топор, лезть в плотники?

Реальность, бытие всего сущего на земле, правда — сама земля, небо, лес, вода, радость, горе, слезы, смех, ты сам с кривыми или прямыми ногами, твои дети. Правда — самое естественное состояние человека, ее не выкрикнуть, не выстонать, не выплакать, хотя в любом крике, в любом стоне, песне, плаче она стонет, плачет, смеется, умирает и рождается, и даже когда ты привычно лжешь себе или другим — это тоже правда, и самый страшный убийца, вор, мордорот, неумный начальник, хитрый и коварный командир — все-все это правда, порой неудобная, отвратительная. И когда завистник с рассудительностью вечного страдальца со стоном воскликнул: «Нет правды на земле, но нет ее и выше!» — он не притворялся, он говорил о высшей справедливости, о той правде, которую в муках осмысливают люди и в попытке достичь высоты ее срываются, погибают, разбивают свои личные судьбы и судьбы целых народов, но, как альпинисты, лезут и лезут по гибельно-отвесному камню. Постигание правды есть высочайшая цель человеческой жизни, и на пути к ней человек создает, не может не создать ту правду, которая станет его лестницей, его путеводной звездой к высшему свету и созидающему разуму.

Но зэк, набегавший за полжизни срок на две жизни, молящийся о спасении души, — все же нехорошая правда, бессмысленная правда, и страшнее она лжи.

Сошнин-таки осилился, заставил себя подняться с постели, помял перед зеркалом ладонями лицо — отчего-то оно так быстро заросло. Да нет, темно возле умывальника, или потемнело лицо от воспоминаний. Скорее всего, так оно и есть. Ведь перед самым походом в издательство, утром не ранним, выскоблился, намарафетился. Помочил расческу Сошнин, разодрал свалявшиеся волосы, погладил себя по голове и пошел за почтой. Под лестницей как было насвинячено, так все и оставалось: окурки, железные пробки, коробки от спичек и сигарет, рвань бумаги и фольги, растоптанные селечные головы, куски хлеба. Здесь же, на газете, постеленной па пол, со всеми удобствами расположился посетитель: стакан, унесенный из автомата, в расковырянной фольге мертвое свечение плавленого сыра, надкушенное яблоко и темная, мрачная бутылка бормотухи с подтеками на наклейке.

— Д-ру-у-уг, — раздалось из-под лестницы. — Какое сейчас время?

— Утро.

— Утро? Вот еще одно утро наступило. Бегит время, бегит... Так и жизнь пробегит...

Леонид поднимался по лестнице с газетами, сопровождаемый романсом: «Утр-ра туманна-а-ая, утр-ра се-эда-а-ае-э, да-али лазур-р-ные мрракам п-окрыты...» Гость седьмого дома оказался меланхоликом. Певцом-меланхоликом.

В газету вложено письмо от Маркела Тихоновича. Сошнин его нетерпеливо разорвал.

«Добрый день! Веселый час! Дорогой мой сынок Леня.

Изболелось мое сердце об вашем здоровье. Были бы у меня крылушки, прилетел бы к вам. А не улетишь. Корова на дворе, что якорь на корабле — держит. И хозяйство всякое кругом, да старуха одна боится ночью. Раньше никого не боялась: хоть ей черт, хоть ей поп, хоть муж, но нерва ее здала в боях с врагами социализма и со мной...»

Леонид улыбнулся и пошел скакать по письму, чтобы основательно перечитать его перед сном.

«Дошел до нас слух, что вы опять с женою в разделе. Это нам большая досада. Как тут быть — ниче не придумаш. Токо одно скажу: нам, мужикам, надо и жалеть их, дур. Куда оне без нас-то? Говорил я тебе или нет, как в сорок девятом году уходил из дому — не стало мочи. Пристал я к одной хорошей жэншине, из соседней деревни Тугожилино, вдове — еще смолоду мы с ней знались. Починил ей домишко, скарб весь уладил, колодец почистил, скотину обиходил, живем, друг дружке не нарадуемся. А моя-то, Толька-то, совсем запурхалась, ниче ведь не умет, токо лаяться и выступать. Приходила страмотить, окна била, блядевонила. Я забеспокоился: Толька в нормальном состоянии за домом не следит, что тогда в ем деется, когда она в нервном приступе. Приковылял, как подневольный. Все у их запущено, не сварено, корова не продоена, на всю деревню орет, пчелы с дому их не выпускают. Лерка золотухой обросла. И что мне свою судьбу тешить? Эти ж пусть пропадут? Так и остался. Старуха блудней меня кличет, на месте действия, говорит, захватила...

Может, тебе ее, дочь мою бодливую, побить? Не до самой смерти — чтоб прочувствовала. Да как побьешь-то? Жалко. Баба. Мать дитя малого.

Жду ответа, как соловей лета! Приезжайте со Светланкой, хоть после Нового года, хоть когда. Мы завсегда вам радые. Корова отелится, молочко свежее будет — это хорошо для здоровья. В жись вашу я не хочу встречать и старухе не даю, но так жалко всех вас — изувеченный на охране опщественного порядка, залег ты в квартире, как в берлоге, — ни сварено, ни топлено, так вот и слезы у меня на бороду...»

В Новый год Маркел Тихонович наденет синий костюм с давно и прочно к нему прицепленными наградами, выпьет медовушки, дружелюбно и блаженненько улыбаясь, станет угощать соседей, потом подопрется рукой и запоет: «Разбедным-то я бедна, плохо я одета, никто замуж не берет деушку за это...» Евстолия Сергеевна высокомерно махнет на него рукой: «Ну, была у волка одна песня, и ту перенял!» — и ударит вперешиб, звонко, непримиримо: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы к счастью ключи...» И старушонки радостно и слаженно вторят: «Ключи! Ключи! Ключи!» Взгляд Чащихи посуровеет, сталью засверкает, лоб от висков бледностью прошибет. Воинственно глядя на растяпу мужа, на убогих старушонок, звякнет хозяйка по столу кулаком: «И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!»

Старушонки в привычный подхалимаж: «Да уж не зря, конечно, эстолько благодарствий и

грамот тебе дадено, Толя, не зря! Борьба — есть лизурьтат».

Чтобы не портить праздника, не ввязываться в ор со старухой, которая искренне верит, что она для Родины и для родных полей сделала неизмеримо больше, чем все эти землеройки, в том числе и ее муж-тугодум, сунется Маркел Тихонович в угол, где вместо икон стоит телевизор «Рекорд», — по нему катаются фигуристки в одних трусиках да в тоненьких чулках, юбчонки до пупа задираются.

«Страм-то, страм экий! Куда токо родители смотрят? Да и власти тоже. Худородные ж от простуды девки сделаются, станут робят рожать, в солдаты негодных, кто Родину защищать будет?» — тревожится у телевизора Маркел Тихонович. Евстолия Сергеевна с визгом катит срамное: «Это он, девки, ждет, ковды с фигуристок трусики спадут! Да не спадут, не спадут. Нонче знаешь кака резинка? Синтетическа! Это у нас ране — веревочка лопнет... альбо ухажеры порвут — пляшешь со штанам в беремья...»

«Так-так, Толя! — поддакивают подружки. — Худа жись была.

Теперь што не жить? Бело стряпам. Здоровье бы токо было...»

Курица давно сварилась. По квартире плавал запах водорослей или тот неотступный запах тугожилинского телятника, который не покидал Сошнина с тех пор, как он без сознания барахтался в навозной жиже. И крыса, как он переутомится или перенервничает, мучает его во сне, бьется, ползет по угреватому асфальту, а ее с криком добивают, клюют в голову вороны.

Вяло, безо всякого аппетита ободрал Леонид зубами лапу склизкой, словно в мыле сваренной курицы. Попил чаю. Попробовал пристроиться к столу, стол шатался, скрипел, вечерами отчего-то крикал даже, и вечерами, в непогоду сильнее болела нога, жгло плечо. Сегодня болят они совсем невыносимо — сшевелил суставы, потревожил раны, лупцуя изо всей дурацкой силы подонков, которые и без его помощи сопьются и подохнут.

Из отделения не звонили, значит, битые им молодцы никуда не заявляли, перевязались, отсморкались, выпили «микстуры» и спят где-нибудь сном провальным, пьяным, и ничто-то их не мучает, не тревожит, и сердце у них ни о чем и ни об ком не болит.

Лежа на диване, Сошнин протянул руку к телефону и, не зажигая света, на ощупь набрал номер. Ответили вопросом: «Кого надо?» Он сказал кого. Слышно было, как стучали из коридора в стену.

— Привет медицине! У вас телефон сегодня, как часы.

— Не успели трубку оторвать. Как жизнь?

— Восхитительна.

— Что-то случилось?

— Почему ты так решила?

— Иначе бы ты не позвонил. Тебе снова нужно мое утешение? Защита от врагов?

— Да нет. Врагов я уже сокрушил.

— А-а, вот это уже серьезно. Где? Кого? Сколько?

— Дома. Под лестницей. Трoих.

— Медицинскую помощь оказали?

— Не потребовалась.

— Дождешься, мент удалой! Достукаешься! Всадят тебе нож в спину...

В ответ на «мента» он хотел сказать — «примадонна», но сдержался и похвалил себя: «Во, молодец! Вымуштровали!..»

— Чего жрешь-то?

— Курицу варил. Отец письмо мне прислал.

— Мне тоже. И еще мяса. Свинью они закололи... к Новому году.

Сошнин почувствовал, как она споткнулась, чуть не сказав «к нашему приезду». Ему бы поддержать «завучавшую струну», навстречу человеку двинуться, но он же остряк-самоучка, гордый, современный, ловкий на слово человек.

— Тебе лучше, — сказал и добавил: — Между прочим, отец советует тебя побить.

— Это он вычитал в любимой газете «Сельская жизнь», в серии «Полезные советы». Только подожди, стирку закончу, приберусь, приготовлюсь. Да вот еще остановка — бить-то сделалось нечего. — Лерка перебарывала слезы.

Оба замолкли.

— Если у тебя ничего срочного... Я, правда, стираю. Светка возле машины.

— Да-да, — спохватился он.

— Чтобы разогнать мерехлюндию, возьми на выходные Светку. Она тебя развлечет. Первоклассница смышленная и современная. Услышала о диких заработках на БАМе и собирается по окончании школы туда. Ее интересует также, где учатся на артисток? С какого класса разрешают носить золотую цепочку и сережки? Сколько раз в жизни случается любовь? Откуда берутся дети? И многое другое, что бесплатно преподается в нашем веселом доме. Боюсь, твоих гонораров не хватит на ее сряду. Ой, я побежала!

— Постой-постой! Светка ко мне, а ты куда?

— Как куда? На свиданье. Сватает меня сосед-бульдозерист.

Сердце его ласки просит... он себе подругу жизни ищет. Четыреста в месяц заколачивает...

— Бульдозерист в мазуте, а у тебя должен быть стерильно чистый халат.

— Отмоюсь. Сейчас такая химия... Ой, я правда как на иголках. Светка не сунулась бы в машину. Чрезмерно девица любопытная.

— Тогда до свидания!

— До свиданья! Звони, когда будет настроение. Точнее, когда не будет.

- Лады.
- Н-ну, я пошла.
- Н-ну, ты, если что...
- Что «если что»?
- Ладно. Я все понял. Спокойной ночи!
- А тебе наоборот!
- Да, попробую поработать.
- Всякий труд благослови, удача!
- Благодарим. Постой!
- Чего еще?
- Ты тетю Граню давно видела?
- А-а, вон ты о чем? Нет, недавно. Чешет по улице Мира, коробок беремя прет. Она теперь в Доме ребенка работает. Вещички детские собирает.
- Как она туда попала?
- Очень просто. В больнице лежала известная всем Алевтина Ивановна Горячева — заведующая Домом ребенка. Не могла же она не уманить за собой такой кадр.
- М-да-а. Это, значит, тетя Граня барахлишко — побоку, детям в помощь, родители которых пируют на просторах родины чудесной, закаляясь в битвах и труде.
- Всегда так было: кто-то бросает, кто-то подбирает... Ой, побежала я! Надо успеть Светку выкупать и уложить. Должна тебе заметить: изо всех твоих потерь тетя Граня — самая непростительная. И утешений на этот счет не жди.
- Что делать? Значит, жизнь в самом деле серьезнее, чем я думал.
- Ты становишься интеллигентом! Самая это первая отговорка современного интеллигента, чтоб мусорное ведро не выносить... Ой, отпусти, ради Бога! — С этими словами Лерка убежала.

Сошнин долго не клал трубку. И слышался в потемках телефонный зуммер, звук из того, другого, многолюдного, делом, словом и весельем занятого, мира.

Глава восьмая

К нему, к тому, к другому, миру и потянуло Сошнина. Он запер дверь, перегнулся через лестницу. Под ней мирно спал, уронив пустую бутылку набок, чужой человек.

«О господи! До чего ж надоело!»

На улице подмораживало. Уже не капало, лишь сочилось с крыш, удлинялись четко по желобам шифера прочерченные сосульки, и на конце каждой из них звездочкой мерцала

остывающая капля. В небе тоже процарапывались сквозь муть и хмарь кособокие звезды. Яснее светились огни на железнодорожной станции, теснее и дружнее сдвинулись многоэтажные дома города, и лишь по берегу реки фонари все еще плавали желтками в яично-белесом испарении. Холмы, все отчетливей проступавшие за станцией, как всегда, полны были тайной задумчивости и значения, и гуще всюду светились фонари и окна окраинных деревянных поселков.

Со станции слышались объявления — как раз принимали поезд на Ленинград, и Сошнину до крику захотелось уехать на край света, уехать тихо, тайком ото всех, прежде всего от себя. Он еще раз позавидовал тем, кто куда-то и зачем-то ехал, были у людей какие-то цели, занятия, думы, что-то или кто-то тянул их или толкал вдаль, в дорогу и, может быть, где-то даже ждал...

В половине двенадцатого со станции Вейск отправлялся напوماженный фирменный поезд на Москву — «Заря севера», и возле раскрытых ворот задом к перрону почтительной чередой стояли разных марок машины, среди них черная «Волга», по номеру давно известная Сошнину — на этой машине возили важного ныне человека в городе — Володю Горячева.

Дядя Володи Горячева был начальником Вейского отделения железной дороги, крутой, видный местный руководитель и общественный деятель, много полезного делавший для транспорта, города и народа. Жена его, Алевтина Ивановна, добрейшей души человек, отчего-то не могла рожать, и, когда в родной деревне Горячевке умерла многодетная сестра Горячева, решено было взять из деревни младшенького, Володю. И взяли. И полюбили. И растили, балуя. Парнишка рос дерзкий, настырный, рано устремленный к самостоятельности, и конечно же такой «кадр» не мог не спуститься с «горы» — так назывались насыпи, на которых стояли дома железнодорожных управленцев и само управление отделения дороги, — и не примкнуть к трудовому народу в тети Гранином тупике.

Работал, пластал одежонку Володя Горячев. Спускалась Алевтина Ивановна в «низ», пробовала воздействовать на Володю и изъять его из трудового коллектива, да где ей в одиночку-то совладать с обществом.

Однажды Володя заболел, лежал с температурой, ничего не ел, криком выживал из дому Алевтину Ивановну, требуя печенок и горьких яблок. «Испортила ребенка, изуродовала! Со шпаной разной связала! Отвечай!» — наступала на тетю Граню Алевтина Ивановна.

Задумалась тетя Граня — никакими яблоками она ребятишек не кормила — нет у нее на яблоки средств. Но просияла, о чем-то догадавшись, завязала в узелок две печеные картошки, горстку луковичек, щепотку серой соли и отправила гостинец дорогому работничку. И сожрал ведь, сожрал, барчонок, все дотла, нарочно выпачкав печенками белоснежную скатерть, и пошел ведь, пошел на поправку; поправившись, неслух опять спустился с «горы» на железную дорогу — работать.

Володя Горячев окончил школу, конечно же, с золотой медалью, потом технологический институт, конечно же с отличием, потом еще в академии какой-то пообретался — и пошел чесать в гору, только уж не железнодорожную, в строительную гору. Быстро освоился с большой должностью и достойно, насколько это возможно в наши дни, хозяйевал в самой крупной строительной организации города Вейска — «Вейскгражданстрое», где насчитывалось более десяти тысяч трудящихся, сколько там бездельников — не ведал даже сам руководитель треста.

Сошнин встречался с Горячевым чаще всего в облизполкоме, где дежурил на тихом месте

после того, как выписался из больницы с хромой ногой.

— Здравия желаю, гражданин начальник! — всегда одинаково приветствовал давнего соратника по труду на желдортранспорте Володя Горячев и, подержав у виска руку, совал ее, будто лопату в землю, и нарочно стискивал чужую руку, проверяя силу.

— Добро пожаловать, будущий «химик»! — охотно откликнулся Сошнин и так сжимал руку Володи Горячева, что тот приседал.

— Сразу и «химик»! — тряся холеной уже кистью в воздухе, бурчал Володя Горячев. — С такой-то силушкой в инвалиды затесался!

— Нам без этого нельзя, — ухмылялся Сошнин. — Без силы с вашим братом не управиться. Вот ты, я отчетливо это вижу, непременно попадешь в руки правосудия и прямым путем на «химию». Воруете потому что.

— Мы не ворует, мы экономим.

— Слышал, слышал по местному радио. — Сошнин постукал ногтем по ящику радиоприемника — «Вейскгражданстрой» сэкономил тысячи тонн бетона, кирпича, железа, стройматериалов. Вам, видать, лишнее дают?

— Ага. Жди. Догонят да еще дадут! Когда от многого берут немножко — это не воровство, это дележка! Помнишь золотое наше детство, «Путевку в жизнь». Помнишь?

— Я помню все, что ты не позабыл...

— Мы что? Детсадовцы. В Сибири вон шустряги-ребята решили миллиард сэкономить. Вот это масштаб!

— Миллиард? Стырить?!

— Ну и поднабрался ж ты у своих клиентов! Зачем тырить? Ничего не надо тырить. Если сибиряки подберут брошенный на реках и в тайге лес, достроят незавершенку и наведут порядок в сельском хозяйстве, они не миллиард, пять миллиардов, может, и десять народу вернут. Да еще и с извинением: вот, мол, наши предшественники разбазаривали, пропивали, а мы хорошие, мы собрали!

— Эко место лисапед!

— Вот тебе и место! Вот тебе и лисапед! Так, значит, говоришь, «химии» мне не миновать?

— Вполне возможно.

— Новая эра жизни надвигается! Прямо оглянуться некогда, все эры, эры...

Провожали какое-то столичное «сиятельство», и оно, обласканное дружески настроенным народом, пьяненько куражилось, никак не могло попасть в широко распахнутую дверь вагона, вываливалось оттуда на готовно подставленные заботливые руки. И «сиятельство»-то, судя по непородистому, вбок скатившемуся пузцу, не очень уж и большое, из главка или из министерства, с этажа не выше чем второго, но, поди ж ты, вейская «общественность» привалила на станцию, высыпала на перрон. Главный инженер «Вейскгражданстроя» Ведерников тут был, юркий пустозвон-профсоюзник Хаюсов — как же без него-то? Две

дамочки-общественницы, числящиеся за отделом техники безопасности. Добчинский и Бобчинский из конструкторского отдела, недавние еще студенты политеха, и другие, более сдержанно державшиеся, подвыпившие личности.

В стороне ото всех томился, весь в красных пятнах на хмуром лице, Володя Горячев. Он тоже делал «сиятельству» ручкой, вымученно ему улыбался, пил возле вагона с гостем, когда его подозвали, из одного фужера коньяк, и общественницы, хлопая в ладоши, разгоряченно кричали: «Пить до дна! Пить до дна!» Добчинский и Бобчинский, характеристику коим Николай Васильевич Гоголь составил так, что лучше уж составить невозможно, и поэтому напомним ее с извинительным поклоном в сторону нашего гениального классика: «Петр Иванович Добчинский, Петр Иванович Бобчинский — городские помещики... оба низенькие, коротенькие, очень любопытные, чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского».

Вейские Добчинский и Бобчинский имели в именах разницу с гоголевскими персонажами — одного звали Эдиком, другого Вадиком. Кроме того, одеты они были не в сюртуки тонкого сукна, в современные парадные костюмы заграничного покроя одеты были технические чиновники. На отворотах пиджаков, из-под распахнутых югославских дубленок цвета топленого молока то и дело выныривали голубые «поплавки», имеющие смысл показать, что эти люди с очень высшим образованием. Вместо коков Добчинский и Бобчинский имели гривы, на ночь завиваемые на женские бигуди, вставных зубов, несмотря на молодость, у них был полон рот, печатки на пальчиках, запоночки золотые, галстуки тонные, не иначе как с арабских или персидских земель завезенные. Добчинский и Бобчинский с умелой готовностью поддерживали под круглую попку «сиятельство», а оно все норовило ускользнуть, вывалиться и то и дело, к восторгу Добчинского и Бобчинского, вываливалось. Дамочки-общественницы с визгом гонялись по перрону за шапкой, с умилением ее пялили на высокоумную плешь дорогого гостя.

Тем временем в вагон подавались сосуды и банки с маринованными белыми грибами, ивовые корзины с мороженой клюквой, местное монастырское сусло в берестяных плетенках, на шею «сиятельству» надеты были три пары липовых игрушечных лаптей, в узорчатом пестере позвякивали бутылки, в пергаментной бумаге, перевязанной церковной клетчатой ленточкой, уезжала из Вейска еще одна старинная, в свое время недогубленная, деревянная иконка.

В хороводе бегал, гакал и ослеплял всех блицами, расстегнутый до пояса, распоясанный, вызывающе показной и пьяный, местный «боец пера» — Костя Шаймарданов, которого Сошнин недавно в больнице, куда тот пришел «отражать» его героический поступок, уговаривал проехаться по деревням Хайловского района и выступить в печати серьезно и принципиально в защиту деревни. «Зачем ему, лизоблуду, деревня? Зачем?»

Поезд «Заря севера» уважительно тронулся; почтительно отстранив гостя, одетый, в парадную форму, величавый проводник вагона поднял железный фартук. «Сиятельство» меж тем все махало собольей шапкой, посылало воздушные поцелуи народу. Дамочки-общественницы рыдали: «Приезжайте! Приезжайте! Милости просим! Всегда пожалуйста!..» Добчинский и Бобчинский, спотыкаясь, бежали за поездом, норовили дотронуться до «ручки», и, будь у поезда скорость гоголевских времен, они б и до Москвы добежали, не заметив того. Но на дворе двадцатый век! Поезд бахнул буферами, хрустнул железом, взвыл моторами электровоза — и умчался, оставив сиротски одинокие фигурки Добчинского и Бобчинского па замусоренных и унылых желдорпутях, аж почти за станцией, возле пункта технического осмотра вагонов.

Сошнин хотел пройти мимо Володи Горячева, но тот, видать, давно его заметил, кивнул и пошел рядом, глядя вдаль, в пустые небесные высоты. Пятна с его лица не сходили, он, как ему казалось, про себя матерно ругался.

— Вставь! Вставь в комедию! — цедил Горячев сквозь зубы. — Да не забудь в финале помянуть, что в главке теперь удовлетворят все наши заявки. Этот сиятельный штимп всех нужных людей известит, что в Вейске принимают лучше, чем, скажем, в Чебоксарах. Лавочки своей у него нету, «Пограничник стоит на пастуху!» — поет мой Юрка, значит, у буржуев ничего не упрешь, у своего народа, в родном отечестве будет красть, химичить, отдаст нам предназначенные в Чебоксары скреперы, машины, дорожные вагончики, обеспечит технику запчастями. Мы выполним план по строительству жилья, досрочно сдадим птицефабрику, пустим свинокомплекс, достроим наконец театр юного зрителя! Всем будет хорошо: рабочим, крестьянам, интеллигенции. В Чебоксары же выговора за невыполнение плана полетят, кой-кого с работы сымут... Тьфу, распро... — плюнул под ноги Володя Горячев. — Когда это кончится, и кончится ли? — С отроческих лет, не глядя на настойчивые потуги Алевтины Ивановны, Володя Горячев так и не обрел солидности в поведении. Алевтина Ивановна, доживающая век у Володечки, при крутых его выражениях хватается за сердце и всем втолковывает, что он, как и дядя его родимый, распустился на руководящей работе, после академии с ним вовсе никакого сладу не стало, и изо всех сил пытается оградить от дурного влияния отца душу невинную и чистую — внука Юрочку.

Володя Горячев открыл дверцу «Волги», кивнул:

— Садись, гражданин начальник, подвезу. Глядишь, потом передачу в тюрьму без очереди пропустишь.

— Спасибо, Володя, я пройдуся.

— Нога-то болит?

— Что нога! — Увидел, как от машины к машине мечется с фотоаппаратом Костя Шаймарданов и взывает: «Поехали, мужики, поехали! В трапезной на столах всего еще навалом! Не пропадать добру!..» — Что нога...

— Пройда! — поморщился Володя Горячев, услышав Шаймарданова, и, держась за дверцу машины, похвалился: — Мы теперь не в ресторане гостей принимаем. В бывшей трапезной монастыря! Квасом хмельным поим, преснушками кормим, бочковой капустой, грибами, ухой из сушеного снетка... Во, на каком уровне бьемся за прогресс и план! — Серdito хлопнув дверцей, усталый начальник умчался на машине доругиваться, достраивать, изворачиваться, сдавая объекты к сроку и досрочно, — словом, работать и соображать, работая.

Возле Сазонтьевской бани, уже закрытой, Сошнин наткнулся на пегую лошадь Лаврика-казака, — тот никак не мог расстаться с дружками — дядей Пашей, старцем Аристархом Капустиним и еще каким-то устойчивым выводком бывших вояк, на глазах Леонида состарившихся. Леонид перехватил вожжи, развернул телегу, велел гулякам садиться, развез их по ближним домам, последнего потартал к жене — Лаврю-казака.

— Это ж он, сопляк, чуть тебя на тот свет не спровадил, а? Я, понимаешь, собирался к тебе в больницу, но конь же на руках, жена преследует. Ходу мне не дает никакого, особо по вечерам. Показаковал я по Вейску после фронта, ох показаквал! Вышел из доверия. Леш, а выпить тебе ни-ни? У меня есть. Во! — Лавря-казак вынул из-за пазухи бутылку темного стекла с наклейкой: «Деготь колесный».

— Нельзя, дядя Лавря, ни граммулечки!

— Вот, собака, как спортил человека! Леш, а ты, можа, моего рысака?.. Я, кажись, отяжелел...

— С удовольствием, дядя Лавря! Только я тебя домой сперва, ладно?

— Лады, Леша, лады. А раненье заживет до свадьбы. Заживе-от! Я эвон как израненный — и ничаво! Ни-ча-а-во-о-о! И выпью. И к старушонке еще ковды наведуясь. хе-хе-хе. Прости меня, старого дурака, Леш! Вино хвастается. А баба счас мне такова бою даст, что фронт игрушкой покажется!..

Доставив Лаврю-казака до дверей квартиры, Сошнин поскорее скатился вниз и погнал лошадь, потому как жена фронтового казака, словно по сигналу боевой трубы, набрасывается на того, кто является с мужем. И кабы дело кончалось одними обвинениями. Можно даже и веника отведать.

Толсто обитая старыми спецодежными штанами дверь в нижней квартире была приоткрыта, и, как только двухпудовая гиря, еще до войны унесенная с товарного двора во вновь тогда построенный дом номер семь, бацкнула за спиной Леонида в почти напололам уже перетертый косяк, на привычный удар, сотрясший деревянное строение, выглянула бабка Тутытиха, поманила его пальцем:

— Леш! Леш! Подь суды! Полюбуйся! Че у нас есь-то! — и закатилась счастливым мелким смехом.

В передней комнате перед зеркалом крутилась внучка бабки Тутышихи, Юлька, и тоже заливалась смехом от ослепляющего счастья. Мечта Юлькина исполнилась — на ней был бархатный костюмчик темного, неуловимо-синего или черно-фиолетового цвета, с золотой полоской по карманчику и бортам. По главное в туалете — штаники: с боков в ряд медные кнопочки, и здесь же — о чудо! о восторг! — колокольцы, по три штуки на гаче, но как они перезваниваются — симфония! Джаз! Рок! Поп! — все-все вместе в них, в этих кругленьких колокольчиках-шаркунцах, вся музыка мира, все искусство, весь смысл жизни и манящие тайны ее! Плюс к тонному-то костюмчику белоснежная водолазочка италийского происхождения, туфельки на дробном каблукке, выкрашенные золотом, пусть и сусальным, паричок шелковисто-седой, как бы нечаянно растрепанный.

— Ой, дядь Леша! — бросилась на шею Леониду Юлька. — Я такая счастливая! Такая счастливая! Это папа с мамой мне привезли. В Риге у моряков купили. Дорого, конечно, но зато уж!..

«Откупились! Опять откупились от родного дитяти!» — сморщился Сошнин, разжимая костлявенькие руки Юльки и снимая их с шеи.

— Задавишь еще от восторга чувств!

— И задавлю! И задавлю! — почти в беспамятстве взвизгивала Юлька.

На столе бутылка «Рижского бальзама», чекенчик беленькой, горсть копченой ряпушки, второпях, неумело открытая банка шпротов, яблоки насыпью, обломок рижского ржаного хлеба в бумажной обертке, и еще что-то, крошеное, мягое, впопыхах на стол набросанное. «И от бабки откупились!» — отрешенно вздохнул Сошнин, изо всех сил изображая на лице счастливое сопереживание.

— Поздравляю, Юлька, поздравляю! Тебе очень идет! — как можно радостней говорил Леонид. — Женихи железнодорожного поселка, да что там железнодорожного, всех поселков! Всех улиц и районов, города Вейска, считай что на шампур надеты! Шашлыки!

— Да ну тебя, дядь Леш! Всегда ты меня высмеиваешь. Нет, правда, идет, дядь Леш? Правда?! — отступая от него, как бы в шутку кокетничая, подергивала Юлька штанишки так, чтоб звенели колокольцы.

Бабка Тутышиха от восторга приплясывала и била в ладоши.

— Выпей, Леш, со мною! Такая у нас радость! — предложила бабка Тутышиха от щедрот своих, налила в рюмочку одного только «бальзама». — Пользительный напиток. Тебе не дам! — вытаращилась она на внучку.

— А мне и не надо. Я пробовала — он горький. Шампанское — вот это да!

Леонид отлил из рюмочки, разбавил «бальзам» водкой и, наказав бабке не пить больше, собрался домой.

— Тебе, можа, Леш, сварить че надо? Пол вымыть? Мы придем. Цыть ты, мокрошшелка! — прикрикнула бабка Тутышиха на внучку. — Скидавай кустюм!

— Ой, баб! Я в общежитие к девчонкам сбегая, ладно?

— Ну, мотри! Одна нога здесь, друга там! — разрешила бабка.

Леонид, подавив вздох, поднялся к себе — времени без малого два часа ночи. Юная модница побежит показывать наряд, бабка тем временем добавит, уснет. Юлька явится на утре, может, и совсем не явится. Бабка заругается, зашумит на внучку, полотенцем помашется...

Глава девятая

В железнодорожном доме номер семь, у сына своего, Игоря Адамыча, бабка Тутышиха появилась лет восемнадцать, может, двадцать назад, но казалось, что она тут жила вечно, никуда не уезжала и ниоткуда не возникала. А между тем у бабки Тутышихи была очень разнообразная биография и довольно-таки содержательная жизнь. Бабка Тутышиха говорила про себя, махая рукой за окошко, что она родом «оттэль, с западу». Была она буфетчицей при железнодорожной станции, рано пристрастилась к вину и мужскому полу — от увлечений такого рода до преступления путь близкий: сделала растрату и угодила перевоспитываться в женскую колонию, аж за Байкал. Там строили железную дорогу. Длинную. Работы было много. В основном земляной. Зойке-буфетчице дали большую лопату и поставили на отсыпку полотна. А она к тяжелой работе непривычна, с детства непривычна. Мать ее, повариха станционного ресторана, дочь никакой работой не неволила, известно издавна: у ямщика лошадь надсажена, у вдовы дочь изважена.

Покидала Зойка лопатой землю день, другой, неделю — не нравится ей эта работа. И тогда мимоходом, совсем нечаянно, она стала «зацепляться» плечом за конвойного начальника и взвизгивать: «У-у, кареглазенький, чуть не свалил на землю...» И как ни туп был начальник конвоя, все же тонкий намек понял, пригласил Зойку к огоньку, дал закурить — не прошло и месяца, как Зойка-буфетчица с общих работ перевелась в столовую посудомойкой, ну, а оттуда рукой подать до заветной должности, до комсоставского буфета, где Зойка блюла себя, стало быть, помногу на глазах у начальства не запивала, с женатыми мужиками не гуляла.

Белокурая, востроглазая, телом кругленькая, беспрестанно улыбающаяся, когда кого надо подсахарить, рассыпающая звонкий беззаботный смех, она безбедно отбыла положенные три года и отправилась со справкою в кармане в направлении запада. Но ехать туда далеко, а долгожданная свобода манила соблазнами жизни. Ехала Зойка, ехала, видит: станция какая-то, возле станции сквер со скамейкой, на скамейке, обсыпанной желтым листом, сидят два мужика, меж них пол-литровка, огурец большущий на газете и кирпич хлеба.

Зойка сошла с поезда и говорит мужикам:

— Налили бы.

Те налили. Разговорились. Хватилась Зойка — поезд-то ушел! Но она помнила, что он шел на запад, торопиться же ей было некуда и не к кому. И пошла она по линии, на закат солнца, где солнце закатывается, там запад — помнила она со школы. Шла-шла — притомилась. Видит впереди: будка стоит, желтым крашенная. Вокруг будки строения всякие, ограда, колодец сбоку будки, с ведром, собака на цепи сидит, на железнодорожную линию смотрит, кого-то ждет.

Зойка свернула с линии. Собака на проволоке как попрет, как оскалится и ры-ры-ры на Зойку. «Ну, съешь ты меня, пес. А народу в Эсэсэре двести мильенов. Еще сколько останется? То-то! Всех не переешь!» Через какие-то минуты, все осознав, пес, как тот конвойный начальник, лежал у Зойки головой на груди, целовал ее в губы, облизывался сладостно, вилял хвостом, преданно взвизгивая.

В ограде, за постройками, курицы порхались, на задах, за дверью низкой постройки грузное тело завозилось и свинячьим голосом пожаловалось на одиночество: «Ах-ах, ах-ах». На огороде, меж еще не срубленных вилок капусты, ходила корова, жевала что-то. Завидев Зойку, замычала: «Му-ы-ы-ы!»

— Мы, мы, — откликнулась Зойка, подошла, обняла корову за шею, слезой горемычных женщин прошибло. Ласковая, добрая корова была под цвет пожухлого листа, на лбу белая пролысина, и один у нее рог, как положено, над головой, бледным месяцем светится, другой почему-то впереди, почти на глаз упал, не иначе как хозяин пожевал его с похмелья.

Будка была не замкнута. Зойка вошла, осмотрелась. О две половины будка, с русской печью и подтопком. В первой половине, что потеснее, кухня со всеми принадлежностями; за перегородкой, сбитой из вагонки и обклеенной газетой «Гудок», горенка с казенной кроватью, со столом изо всего дерева. На окошке цветы, в простенке — рамы с карточками, справа буфет с посудой, слева шкаф, и вдоль стены деревянный вокзальный диван. На всех изделиях по дереву вырезано строгое «МПС», «МПС»...

Ничего помещенье, обставленное, только на всем обиходе лежит отпечаток мужской грубой руки и пахнет керосином.

Однако поверх керосинного духу козырем все крыл запах наваристых мясных щей. Зойка заглянула в печку — так и есть! В загнете стоит чугунок со щами, рядом, в сковородке, до корки запекшаяся драчена из картошек. Зойка проголодалась и все это приготовление из печи достала, найдя еще в сенцах кадку с огурцами и на печи в корзине крупные помидоры, иные уж с гнилью. Накрыла на стол гостя и остановилась середь помещения, соображая. В углу икона какой-то святой девы с угасшей синей рюмкой-лампадой. Зойка открыла сундук, придвинутый к заборке. Нет в нем искомого. Еще посоображала Зойка и с гиком бросилась в сенцы, там ларь, возле ларя корыто с песком, в ларе керосин в бидонах, фонари, лопаты,

путевые башмаки, фляги, банки, петарды и всякий железнодорожный инвентарь. Над ларем аптечка, и, конечно, в аптечке — где же и быть-то ему больше? — спиртик в баклажке, в алюминиевой, тоже с буквами «МПС». Зойка развела спиртик в стакане, дождалась, когда возмущенный водою химический продукт поуспокоится, выпила его досуха и с большим аппетитом пообедала. Во щах был хороший кус свинины, она его братски разделила пополам, спиртику тоже еще развела и оставила на столе, закрыв бумажкой, чтоб не выдохлось питье. Подумав еще маленько, Зойка отнесла остатки еды кобелю, называя его Полканом. У пса было другое имя, но с этого дня кобель презрел его и забыл навсегда, приняв, будто награду, то званье, которым его нарекла гостья, как оказалось, долгая.

Прибрала Зойка на столе, спать захотелось. Открыла она постель — мужиком пахнет, наволочка давно не стирана и накидка тоже. Зойка достала из сундука простыню, наволочку, полотенце, сходила к колодцу, вымыла ноги, озырнувшись на лес, и повыше чего помыла, содрогаясь от холодной воды, личико свое сытенное, от воды заалевшее, руками погладила, по волосам гребешком прошлась, заглянув в настенное зеркало, подмигнула себе левым глазом — уж что-то, подмигивать она умела!

Адам Артемович Зудин — путеобходчик, как положено Адаму, был еще холост, Еву еще не приобрел. Наведывались иногда в будку Евы со станции либо из путевой казармы, что за двенадцать верст от его поста, но, быстро заглохнув в таежной местности от однообразной жизни, сбегали. И вот возвратился Адам с линии, с железнодорожного обхода — мамочки мои! В его будке, в определенном ему железной дорогой казенном помещении, на его кровати спит Ева, белокуренькая, лицом посвежелая. Святая женщина, не иначе! Вошла в жилище, все, что требовалось, нашла, покушала, выпила — и с половины все, с половины! Так и положено Еве: Адаму-работнику оставлять половину всего, потому что она и зовется половиной, — по-божески, по справедливости людям жить полагается, хоть на том, хоть на этом свете. Так рассуждал Адам, торопливо хлебая щи. На грудь из ложки лилось — не сводил с Евы глаз Адам, и, чем дальше хлебал, тем большая торопливость и нетерпение охватывали его. Бог! Бог это ему, мужчине, одичалому от одиночества, женщину послал. Он, он, радетель! От управления дистанции пути не больно какого товару дождешься, керосину, фитилей для фонаря — и то в обрез дают, инструменту не допросишься, велят самому промышлять инструмент, и корм, и бабу! А они, бабы, по железным дорогам не валяются. От гнетущей истомы отправится когда Адам в путевую казарму, в дождь, в мороз, в пургу, всякое бывало, но отломится ли чего, еще неизвестно, смотря по обстоятельствам.

Адам нервничал, ерзал за столом. Старый мужик, известное дело, и трехдневной каше рад, а тут?! «Да черт с ними, со щами с этими и с обедом!» Адам бросил ложку, путаясь в одежде, разболокся до исподнего, чисто плотно вытер ноги о половичок, приподнял одеяльце и осторожно вкатился в уютную, хорошо нагретую постельную глушь. Полежал, смиренно вытянувшись, Адам — не прогоняют. Тогда он придвинулся к Еве потеснее и услышал: «Ну, энти мужики! Ну звери и звери! Со стужи, с ветру... и холодными лапами сразу к живой теле!..»

Так вот Адам женился и сам себе удивился. Жили Адам с Евой весело и даже бурно. Гонялся, и не раз, Адам за Евой с ломом и путевым молотком, поднимая инструмент над головой. Но догнать не мог. Шустра! Палил Адам в Еву из ружья дробью — промахнулся. Вешался Адам на турнике, перед окнами путевой будки — веревка оборвалась, и все через роковую, ослепляющую разум Адама страсть: любила Ева народ и народ ее тоже любил.

Под расписку Зойка не шла до тех пор, пока не родился сынок, которого она нарекла модным

именем Игорь. Рос сынок на приволье хорошо, быстро, и Зойка возле него унялась, заботливой матерью сделалась, уж не метила улизнуть на станцию в буфет. Адам наметил план: смастерить еще двух детей, дочку и сына, чтоб закрепить за собою Еву. Да не дала она себя закабалить земными заботами и многодетностью. Когда Игорь вырос и был определен в железнодорожное училище получать профессию машиниста электровоза, заперевала Ева с прежней силой.

Игорь Адамович уже определился с работой, женился, когда мать его объявилась в Вейске, в железнодорожном поселке, в доме номер семь, заявив, что мужик у ей был уже преклонных лет, когда она с ним сошлась, сносился до смерти и теперь она станет жить с сыном, потому как больше жить ей негде и не с кем.

И жила. Долго. Давно жила. И привычно совали за нижнюю дверь детишек жители восьмиквартирного дома, побежавши по делам, в кино, срочно куда-либо вытребованные, и привычное слышалось из квартиры Зудиных: «А-ту-ты-ту-ты-ты, а-ту-ты-ту-ты-ты-ты...» Это бабка Зоя колебала и подбрасывала на коленях чье-либо дитя, иногда по несколько штук сразу.

Была бабка Зоя страшная сквернословка и любила выпить. Подвыпивши, пела частушки, чуть их подделывая «под приличность». Например: «Тятка с мамкой на полу гонят деготь и смолу, а я бедный, за трубой изгибаюся дугой». Будучи во зле, бабка бралась за воспоминания, как в колонии «ливер давили» рассказывала, по-человечески это значит — ухаживали за женщинами «своего мира» урки, бандиты, всякое отребье.

Ребятишки — народ творческий: бабкины частушки восстанавливали в подлинном тексте и горланили их на весь поселок. Володя Горячев специально ходил к седьмому дому — заучивать фольклор бабки Зои, которая постепенно утратила подлинное имя, потому как народ плодился — бабкино «ту-ты, ту-ты, ту-ты» уже не смолкало ни днем, ни ночью. Долго бабка Тутышиха билась с приладом к «ту-ты, туты», уж и так, и этак вертела она его: «А туты, туты, туты, потерял мужик путы, шарил, шарил — не нашел, сам заплакал и пошел». Но ребятишки в доме номер семь и окрестностях его не знали слова «путы». Бабка попробовала приставлять «уды», однако и тут что-то ее в тексте не устраивало, и тогда ум бабки, уже вплотную сблизившийся с детским, ступил на новаторскую линию, обогатил русский фольклор дерзким новшеством: «А туты, туты, тутыл, потерял мужик бутыл, шарил, шарил — не нашел, сам заплакал и пошел».

Всех эта последняя редакция устроила, потому как в тексте содержался прямой намек на воздаяния и благодарствия. Все расчеты за помощь отныне осуществлялись с помощью «бутыла» — небольшого и неразорительного. Бабка Тутышиха, когда у нее появилась внучка Юлька, и сыну приказала: пенсию не зорить и в неделю раз выдавать ей четушку. Пенсия у бабки была небольшая, как сторожу, помощнику путеобходчика ей определили рублей двести пятьдесят старыми деньгами.

С появлением внучки бабка смягчилась нравом, черные ее воспоминания погасило чувство светлой, пусть и бестолковой, любви к Юльке, или потускнели сами собой они, и когда внучка была во здравии, а росла она хилая, плаксивая, в соплях всегда, бабка, прикрыв глаза, оживляла в себе совсем-совсем почти погребенное жизнью и годами. «Я на тым берегу черемуху ломала, а на энтот перешла — с миленьким гуляла». «Не стой на мосту — не маши хвурашкой, я теперя не твоя, не зови милашкой!» И с тихой, бесслезной печалью воскресила однажды: «Милая, красивая, свеча неугасимая! Горела да растаяла, любила да оставила...» Спела, вскинулась и, оглянувшись вокруг, не подглядывает ли кто, наморщенным лбом уперлась в стекло окошка того, которое было рублено туда, на запад, на родину, давным-давно ею покинутую.

Юлькина мать — женщина конторская, часто болела, рожать ей было нельзя, но она надеялась с помощью родов оздороветь и оздоровела настолько, что стала ежегодно кататься по бесплатному железнодорожному билету на курорты, с мужем и без мужа, и однажды с курорта не вернулась, говорили, утонула в Черном море.

Игорь Адамович, все еще молодой, но уже посолднейший, с хорошей профессией и большим заработком, долго не вдовствовал, учительница школы рабочей молодежи, где он добывал среднее образование, Викторина Мироновна Царицына, с самой ранней молодости, с пединститута еще, имеющая двух девочек-близняшек, Клару и Лару, быстренько помогла ученику с образованием семьи и по части всякой иной грамоты.

У Викторины Мироновны была квартира в управленческом доме. Игорь Адамович скоро позабыл номер старого дома, и осталась Юлька при родителях считай что сиротой, на руках великого педагога — бабки Тутышихи, которая материла внучку за отставание в учебе, гонялась за ней с полотенцем, если та не слушалась ее.

На шестнадцатом году, видя, что Юлька начала охорашиваться, подглядывать за мальчишками и спать беспокойно, бабка Тутышиха стравила внучку какому-то пьющему проходимцу, и синюшная лицом, тонконогая, недоразвитая Юлька, из-за умственной отсталости не удержавшаяся в пединституте, приткнута была Викторинной Мироновной в училище дошкольного воспитания и маялась там который год, мучая себя и воспитательные науки. Родители Юльки, подрастив двух дочерей в управленческом доме, возлюбили путешествия и отдых в санаториях, жили в свое удовольствие, катались вокруг Европы и по ближним странам, завели дачный участок, увлеклись цветоводством. Юлька тем временем добывала себя с кавалерами, среди которых, вспомнил Леонид, случался и тот модник в дубленке с гуцульским орнаментом. Он, поди-ка, Юльку и подждал с гоп-компанией под лестницей, да тут и нанесло Юлькиного верхнего соседа.

Бабка Тутышиха жить без Юльки не могла, учила ее уму-разуму, будто фельдфебель в пехотной роте, не подбирая выражений:

— Ты перед каждым-то встречным-поперечным не расщеперивайся, — зычным голосом корила она внучку. — Ты строк отшпытывай или какую анпулу проглоти.

— Капсулу, бабушка. Ампула в стекле.

— Ну и што, што в стекле? Раз атмаесси, потом зато те свобода. А это что же за моду взяла — кажин раз пятьдесят рубликов! Где отцу на вас полсотских набратья? Вас у ево три халды, и все развитые, похотливые. И в ково токо удались? Я вот удала была, но ум имела! У тэй-та, у царицы-та, дочки учительши, а кунки у них тоже, гляди-ко, веселы...

Спит бабка, поднабравшись вкусного «бальзама» и прикончив чекенчик. Юлька переполошила своим нарядом подружек из общежития училища дошкольного воспитания, примерно такого же уровня ума и духовных запросов, как у нее. Все еще зудит и пытается поставить на путь праведный дядя Паша потерявшего «облик совести» старца Аристарха Капустина, рыбака-стервятника, черпающего веснами рыбу в заморных прудах и озерах, балующегося «телевизором», «косынками», — так недолго до взрывчатки докатиться и угодить в тюрьму. Лавря-казак, выдержав извержение вулкана, дожидается часа, когда расплавленные породы остынут и осядут в нутро клокочущего кратера, на цыпочках прокрадется в туалет, где за журчливым унитазом, среди бутылок с красками и пакетов с порошками, стоит сосуд с деловой наклейкой «деготь колесный» — клятая капелюшечка никак не дает ему сонно расслабиться. В

Доме ребенка спит — не спит тетя Граня, чутко сторожа сон малых людей, осиротевших в несчастье, брошенных или пропитых мамами и папами.

Запираются на ночь клубы, стадионы, рестораны, библиотеки, Дворцы культуры, но летят самолеты, идут поезда, стоят на посту часовые и сторожа. Где-то в тюремном вагоне тесно спит с такими же, как он, хануриками, Венька Фомин из Тугожилина и не знает, куда его везут. А везут его далеко и надолго — остатков уже шибко траченной жизни может ему не хватить на возврат.

Крепко запершись на деревянный засов и на железные крючья, врозь улеглись в жарко натопленной избе супруги Чащины, вздыхает украдкой, чтоб не потревожить «самое», перемогает бессонницу Маркел Тихонович, тоскуя по внучке, думая о зяте и дочери, может, и фронт вспоминает — вслух, прилюдно он отчего-то вспоминает войну редко, вздыхает лишь иногда: «Не приведи, господи, еще раз такое...»

Уторкав вундеркиндов, сонно перелистывает затасканную рукопись некоего Сошнина мыслительница и толкач местной культуры Октябрина Перфильевна Сыроквасова.

Большой начальник Володя Горячев правится спать и, как ему кажется, про себя выражается по адресу гостя и всех порядков, не им заведенных, но в невесомость орбиты его втянувших. Алевтина Ивановна, путающая зычные голоса покойного мужа и богоданного сыночка, наглухо накрывает внука Юрочку, отворачивает от его лица голубой огонек ночника, смотрит на заоконный уличный свет, думая о детях вверенного ей Дома ребенка, где она, ровно бы искупая вину за нерожальность свою, пытается стереть из жизни и памяти детишек немилосердность беспутных и преступных женщин, выправить их дальнейший жизненный путь.

Лерка и Светка, уработавшись, спят обнявшись на тесном диванчике в тесной и душной комнатухе, в многолюдном каменном бараке, согласно новой эре ловко переименованном в жилище гостиничного типа. «Все эры, эры...» — вспомнилось Сошнину.

Кто-то на дежурстве но отделению сменил Федю Лебеду? Кого-то побьют или изувечат ночью три добрых молодца, уязвленные в доме номер семь и от уязвленности жаждущие мщения?

Качается за окном фонарь, крошатся от ветра сосульки. Пробуравил лобовым прожектором, успокоил басом ночных пассажиров электровоз, на котором после отдыха в модном прибалтийском санатории, быть может, в первый рейс ушел щедрый отец Юльки. Все реже на улице прохожие, все медленней кружение Земли, и Лерка со Светкой все спят, спят... «Я знаю, вы лукавите со мной. Уж сколько раз давал себе я обещанья уйти, порвать с обманщицею злой. Но лишь у нас доходит до прощанья — как мне уйти? Смогу ли быть с другой?..» «О Мати Божья, и что за способность у человека запоминать глупости, видеть то, чего не надо видеть, жить не так, как добрые люди живут, без затей, надломов, просто жить...» — успел еще подумать о себе отстраненно Леонид и, кажется, поспал всего несколько минут, как вдруг его сбросил с дивана тонкий вопль — кто-то кого-то терзал, или поздно и тайно возвращающуюся домой Юльку сгрел какой-нибудь забулдыга и поволок под лестницу.

Натягивая штаны, Сошнин с удивлением смотрел в окно, за пузатый «гардероп», откуда льдиной напирал холод рассвета, как дверь, которую он забыл закрыть, громынула, через порог упала и поползла, протягивая к нему руку, Юлька:

— Дядя Леш!.. Дядь Леш!.. Бабушка...

Сошнин перепрыгнул через Юльку, махом долетел до нижней двери, распахнул ее.

Бабушка Тутышиха, сложив маленькие, иссохшие ручки на груди, с доверчивой и приветной полуулыбкой лежала на кровати поверх одеяла, в верхней одежде, в стоптанных тапочках, полуоткрытым глазом глядя на него. Леонид защипнул холодные веки бабушки Тутышихи, поболтал керамическую бутылку из-под «Бальзама рижского» — бабушка не послушалась наставлений его, прикончила «пользительное» питье.

Ему бы ночью изъять «бутыл» у бабки, так нет, у него свои дела и заботы. У всех свои дела. Скоро никому никакого дела друг до дружки не будет.

— Перестань! — прикрикнул он на скулящую в дверях Юльку. — Дуй за отцом, за Викториной Мироновной, гуляка сопливая! Что вот теперь без бабушки делать будешь? Как жить?

— О-ой, дядя Леша! Не уходи. Я бою-уся-а... Не уходи... — набрасывая шубенку, не попадая в петли пуговицами, частила Юлька. — Я счас. Я мигом.

Провожали бабку Тутышиху в мир иной богато, почти пышно и многолюдно — сынок, Игорь Адамович, уж постарался напоследок для родной мамочки. Хоронили бабку на новом, недавно подсоединенном к старому, кладбище, на холме, да и старое-то началось лишь в сорок пятом году, тоже на голом, каменисто-глинистом холме, но там уж плотно стоял лес, частью посаженный, частью выросший из семян, прилетевших из заречья и с охранной лесной зоны города Вейска, с железнодорожных посадок и просто притащенный с землею на обуви, на колесах телег, грузовиков и катафалков, — жизнь на земле продолжалась, удобрения в земле прибавлялось. Все шло своим чередом.

Бросив горсть земли на обтянутый атласом гроб бабушки Тутышихи, Леонид напрямик, по снегу, валившему после оттепели обрадованно и неудержимо, пошел к старому кладбищу, отыскивая взглядом толстую осину-самосевку — ориентир на пути к могиле матери и тети Лины.

Возле свежепокрашенной, ухоженной оградки увидел качающуюся по голубому снегу косошею тень в железнодорожной шинеленке, в беретике и не стал мешать молиться тете Гране, прошел мимо, удивившись лишь тому, что тетя Граня, женщина крупная, сделалась со школьницу ростом. Фотография Чичи на пирамидке выгорела или обмылась дождями и снегом до серого пятнышка, но тетя Граня все еще, видать, узнавала в том пятнышке мужа, молилась Господу, чтоб Он простил его и в свой черед не забыл о ней, грешнице, прибрал бы тихо, без мучений; горсовет в порядке исключения, за все ее труды и жертвования в пользу общества, разрешил бы похоронить ее на закрытом кладбище, рядом со спутником жизни, какого уж ей Бог послал.

В оградке матери и тети Лины толсто лежал снег в крапинках копоти, долетавшей сюда из городских труб. Леонид не стал отматывать проволоку на дверце оградки, не вошел в нее. Взявшись за острозубые пики, приваренные электросваркой к поперечным угольникам, стоял и смотрел на это тихое место, пытался и не мог вообразить, как они там, дорогие его женщины, под снегом, в земле, в таком холоде существуют. И ничего нельзя для них сделать, ничем не возможно помочь, отогреть, приласкать. Что же такое вот этот день, небо высокое, яркое от снега и вдруг прорвавшегося с высоты солнца и это вот густонаселенное кладбище, в утеснении которого лежат под снегом и не подают голоса двое никому, кроме него, Сошнина, не известных людей? Где они? Ведь были же они! Были! И люди, все люди, что вокруг лежат, тоже были. Работали, думали, хлопотали, плодились, добро копили, пели, дрались, мирились,

куда-то ездили или думали поехать, кого-то любили, кого-то ненавидели, страдали, радовались...

И вот ничего и никого им не надо, все для них остановилось, и сколько бы ни ломали головы живые, чтобы понять и объяснить себе смысл смерти, — ничего у них не выходит. Сколько бы ни винулись, все не кончается вина живых перед покинутыми земные пределы людьми.

Весной на кладбище сжигали мусор, и поднимись же ветер на ту пору — и пошли палы по могилам и крестам. Все, что было деревянное, — сгорело, на железном сожгло краску. Многие могилы на кладбище разоренными ушли в зиму, под снег, ржавели оградки и памятники, пустовали могилы — снег упрятал головешки под собой, накрыл белым саваном — к месту слово пришлось, — совсем уж скорбным саваном приют человеческой юдоли и печали.

Пламя побывало и на могиле Сошниных, оплавало краску на ограде, выжгло фотокарточки в полукруглых отверстиях. Леонид летом наново покрасил голубой краской оградку и немудрящие надгробия, вбил в землю скамейку, но фотографии новые не вставил. Зачем они? На прежних фотографиях женщины молодые, мало похожие на тех, которых помнил Сошнин. В войну маме некогда было фотографироваться. Тетя Лина после колонии не в фотографию правилась, а, тайно от него, от Леонида, в церковь. Незачем тешить фотографиями чужих и равнодушных к ним людей — показухи и без кладбищ хоть отбавляй. Он помнит маму, но больше тетю Лину, любит их, скорбит по ним, мучается, как и все люди, в груди которых еще есть сердце, за то, что жив, а они лежат так близко — рукой можно достать — и в то же время столь далеко, что уж никогда и никто их не достанет, не увидит, не обидит, не развеселит, не толкнет, не обругает. И небо, так ярко засиявшее от беззаботного, никого не греющего солнца, к ним отношения не имеет — они в земле лежат, снизу у них земля и над ними земля, давно уж, наверное, раздавившая их, вобравшая их тлен в себя, как вбирала она и до этого миллионы и миллионы людей, простых и гениальных, черных и белых, желтых и красных, животных и растения, деревья и цветы, целые нации и материки, — земля и должна быть такая: бездушная, немая, темная и тяжелая. Если б она умела чувствовать и страдать, она бы давно рассыпалась и прах ее развеялся бы в пространстве. Вбирая в себя то, что она родила, вбирает она и горе человеческое, и боль, сохраняя людям способность жить дальше и помнить тех, кто жил до них.

— Ну, простите меня, мама, тетя Лина, — сняв шапку, низко поклонился Леонид и отчего-то не смог сразу распрямиться, отчего-то так отяжелело его горе, скопившееся в нем, что сил не было поднять голову к яркому зимнему солнцу, сдвинуться с места.

Наконец он почувствовал головой холод, обеими руками нахлобучил шапку и, уже не оглядываясь, длинно прокашливая слезы в сдавленном горле, двинулся к выходу кладбища, боясь выплюнуть откашлянную мокроту в кладбищенский снег.

У выхода со старого кладбища он заметил две фигурки: одна в приталенном пальтишке, в песцовой шапке, пританцовывает, бьет сапогом о модный сапог, другая фигурка малая, с большой круглой головой-одуванчиком — слава богу, догадалась закутать ребенка в тети Лину пуховую шаль, в валенках с галошами, в деревенских рукавичках из овечьей шерсти, в неповоротливой шубе, стоит, смешно оттопырив руки. Чтобы не дать ход пустому разговору: «Опоздали на автобус, все машины ушли, мы с нового кладбища сюда, на всякий случай...» — Сошнин с ходу поднял Светку, прижал ее к себе. Она молча и крепко обняла отца за шею, приникла к его уху ртом, осторожным теплом в него дышала.

Почему-то он шел сердито, или так казалось Лерке, больше обычного хромал, и ботинки, полные снега, мерзло чирикали на стеклянистой полознице дороги. Не зная, что сказать и

сделать, Лерка внезапно стала дразнить его про себя жестокой детской дразнилкой: «Рупь-пять — где взять? Надо за-ра-бо-тать? Рупь-пять, где взять...» «Что это я? Совсем уж рехнулась? Вовсе одичала? — остепенила она себя. — У него ж с ногой, видать, совсем неладно, не может грубые милицейские сапоги носить...» Лерка покорно зачестила ногами позади мужчины, и у нее тоже начали почирикать сапоги.

— «Куда ты?» — хотела она запротестовать, запоперешничать, когда Сошнин свернул от кладбища к спуску, ведущему в железнодорожный поселок, но он же заорет, непременно заорет: «Домой! Нечего шляться по чужим углам!» — и потом у них там, в седьмом доме, — поминки, может, помочь надо тете Гране и Викторине Мироновне. Да мало ли что — дни у него трудные, хлопотные были последние, и работа с Сыроквасовой, и какие-то хулиганы на него нападали — все-то на него кто-нибудь нападает, и вообще живет он все время какой-то напряженной жизнью. Зачем так? Сколько свежих могил на новом кладбище? Черно. А кладбище-то осенью лишь прибавлено и открыто. Зачем люди укорачивают себе жизнь? Зачем торопят друг дружку туда? Надо наоборот. Надо как-то совместно преодолевать трудности, надо мириться с недостатками...

— Тебя где носит? — зашипела на Леонида тетя Граня, как только брякнула за ним гиря в седьмом доме. — Второй черед надо садить за стол, какие-то ветераны затесались, пробуют песняка драть...

— Я-то тут при чем, тетя Граня?

— Забирай их! Выметаи! Чтобы людям не мешали...

— Я не служу в милиции, тетя Граня.

— Ну дак че? Кому-то надо все одно наводить порядок! Хозяин-то наелся, никово видеть и слышать не хочет, по мамочке горюет.

Тетя Граня отчего-то была непривычно сердита, почти зла. Скорей всего, от работы в Доме ребенка. Судьбы и жизни детей, исковерканные еще при рождении дорогими мамулями и папулями, наверное, не очень-то рассиропливают сердце, они ожесточают даже таких святотерпцев, как тетя Граня. Одна мамуля совсем уж хитро решила избавиться от сосунка — засунула его в автоматическую камеру хранения на железнодорожном вокзале. Растерялись вейские ломовцы, — хорошо, что всегда и всюду у нас найдется куча специалистов по замкам, и один матерый домушник, живший по соседству с вокзалом, быстро открыл сундучок камеры, выхватил оттуда сверток с розовым бантиком, поднял его перед негодующей толпой. «Девочка! Крошка-дитя! Жись посвящаю! Жись! Ей! — возвестил домушник. — Потому как... А-а, с-су-ки! Крошку-дитя!..» Дальше говорить этот многожды судимый, ловимый, садимый страдалец не смог. Его душили рыдания. И самое занятное — он действительно посвятил жизнь этой самой девочке, обучился мебельному делу, трудился в фирме «Прогресс», где и отыскал себе сердобольную жену, и так они оба трясутся над девочкой, так ее лелеют и украшают, так ли ей и себе радуются, что хоть тоже в газету о них пиши заметку под названием «Благородный поступок».

Сошнин раскутал Светку, поставил кастрюльку с супом на плиту, зажег бумагу, начал толкать в печку дрова. Светка посидела возле дверцы плиты на низенькой табуретке, взяла веник и стала подметать пол.

Лерка стояла, опершись спиной на косяк, и глядела в дверь средней комнатки, из которой виден был угол зловещего «гардероба». Хозяин не приглашал ее раздеваться, проходить.

Пошвыривал дрова. Она, его «примадонна», так ни разу ни с одним мужчиной больше и не была, боится раздеться, «одомашниться». Ей нужно будет время заново привыкать к нему и к дому, перебарывать свою застенчивость или еще что-то там такое, не всякому дураку понятное.

— Я пойду туда, — кивнул Леонид на дверь головой. — Надо. Ты, Свет, похлебай горячего супу, хочешь — почитай, хочешь — поиграй, хочешь — телевизор включи. Не знаю, работает ли? Я его давно не включал...

Светка перестала водить веником по полу, исподлобья глядела на него, потом перевела глаза на мать. Лерка молча отстранилась от косяка, пропуская Сошнина в дверь.

Под лестницей серой, пепельной кучкой лежало что-то в расплывшейся луже. «Урна!» — догадался Сошнин. — На свадьбы и торжественные гулянки ее уже давно не пускали, но с поминок прогонять не полагается — такой обычай. Наш тоже. Русский.

«Эй! — вскипело в груди Сошнина. — Эй, жена! Иди полюбуйся на мою любовницу!..» — хотел он уязвить Лерку напоминанием о давнем их скандале, и тут же «осаврасил» себя — словцо Лаври-казака пришлось к разу. — «Со-овсем ты, Леонид Викентьич, с глузду съехал, как говорят на Украине, совсем! Скоро весь злом изойдешь, касатик!..»

А-ар-р-рдина не да-аррам да нам стр-рана вручила,
Ето знает каждый наш боец...
Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов,
Мы готовы к бою, Сталин — наш отец...

Подпершись рукою, вполголоса вел за столом Лавря-казак, дядя Паша, старец Аристарх Капустин, соседи, многочисленные «воспитанники» бабки Тутышихи и просто знакомые люди подвывали в лад ветеранам, промокая глаза комочками платков.

Игорь Адамович лежал ниц на материнной кровати, в пиджаке, в начищенных ботинках, не шевелясь, не подавая голоса. Викторина Мироновна вопросительно и тревожно взглядывала в его сторону, вежливо потчuya гостей. У торца стола, в выдающийся костюм, в заморскую водолазку и шелковый парик наряженная, торчала нелепая и всем тут чужая Юлька. Она поймала взглядом вошедшего Леонида, потерянно ему улыбнулась:

— Сюда, дядь Леша, сюда, пожалуйста!

Певцы примолкли было при появлении Леонида, но он, присев к столу, без ожидаемой строгости молвил:

— Пойте, пойте. Ничего. Баба Зоя легкого характера была, любила попеть...

— Ой, бабушка, бабушка! — диким голосом закричала Юлька и упала на плечо Леониду.

Он ее погладил по съехавшему на ухо, не по ее малой глупой голове сделанному парикy и со скрипом прокашлял чем-то вдруг передавленное горло.

Пришла Лерка. Сошнин пододвинулся, освобождая место подле себя на плахе, положенной на стулья вместо скамьи и покрытой облысевшим ковриком, принесенным Викториной Мироновной из дому.

— Царство небесное милой бабушке, — потупясь, произнесла Лерка, зачерпнула ложечкой кутьи из широкой вазы, подставив ладонь, пронесла ее до рта и долго жевала, не поднимая

глаз.

Тетя Граня закрестилась, заплакала; зашмыгали носами, заутирались женщины-соседки, кто-то сказал привычное, к чему никогда и никому не привыкнуть: «Вот она, жизнь-то, была — и нету». Никто не продолжил, не поддержал скорбный разговор, и петь больше не пробовали, не получалось ни долгой душеочистительной беседы, ни песен расслабляюще грустных, располагающих людей к дружеству и сочувствию.

Ночью Сошнин лежал не шевелясь на свежезаправленной постели. Близко, за тонкой перегородкой посвистывала носом Светка, простудившаяся на кладбище. Несмело прижавшись к нему, спала Лерка. Четко работали-стучали старые часы на стене в деревянном ящике — их любила заводить ключом Светка. Леонид все забывал их заводить, и уже через сутки после разрушения семейного союза часы, упершись гирей в деревянный пол, замолкали, делалось тихо, время останавливалось в четвертой квартире. Он стал думать, откуда и каким образом попались в пролетарскую квартиру такие старинные, снова сделавшиеся модными и ценными часы — опять пошла мода на старину. Но ничего ни вспомнить, ни придумать не смог, и вообще думать ему ни о чем не хотелось — редкий, пусть и настороженный покой был в его жилище и в сердце. Он понимал, что надо как-то налаживать свою жизнь, разбираться в ней и, прежде чем вплотную засесть за письменный стол, по-новому, вдумчивей и шире, что ли, осмыслить все, что произошло и происходит с ним и вокруг него, научиться смотреть на людей и понимать их не так, как прежде, глазами зоркого и беспощадного «опера», а человека иного предназначения. На работе, там просто было «сортировать» алкашей, бабников-разведенцев, жуликов, мелких и больших воров — «паханов» и «цариц», сутенеров и рвачей, вокзальных и чердачных обитателей, бичей, перекаати-поле вербованных. Но ведь это лишь верхний слой... Или нижний? Пыль на подоконнике, а за окном, по-за стеклами идет, бредет, бежит, живет, пляшет, веселится, плачет, ворует, жертвует фамильными ценностями и собой, рождается и умирает всякий разный народ, много народу, много земли, много лесу...

«Много лесу, много лесу, много вересиночек...» Он так и уснул, не успев до конца вспомнить частушку, слышанную в деревне Полевке. Хорошая, складная частушка — народное творчество.

Спал он сперва спокойно и крепко, но потом привязался и начал мучить его кошмарный сон: по весеннему, рассосанному льду, замусоренному рыбаками, испятнанному сверлами, приплясывая, ходила девочка в красной шапочке. Лед от того и другого берега отсоединен заберегами, вот-вот тронется река, и никого на льду, ни одной души, кроме девочки. Леонид смотрел, смотрел на девочку и узнал Светку, хотел заорать, но в это время река тронулась, начало ломать, разводить льдины. Сошнин бежал вдоль берега, точнее, пробовал бежать, да не бежалось. Звал Светку — воздуху на громкий крик в груди не хватало. И тогда он бросился в реку, стал разбивать лед кулаками. Лед не разбивался. «Ты его доской, доской», — послышался голос Феди Лебеды, и откуда-то взялась доска. Леонид крушил лед доской, рвался к Светке, больно натываясь грудью на острие льдин, все глубже забредая в кипящую мутную воду. «Хорошо, хоть не холодная. Сток. Горячий сток с шинного завода, вот и не холодная». Он пробился-таки к девочке, протянул руку, но в это время льдина лопнула на несколько частей, беспечно смеющуюся девочку закружило, понесло уже не на льдине, на тетрадном листе, в углу которого стояла крупная красная двойка, понесло в небо, во тьму, проколотую звездами. «Да это же тот свет!» — догадался Леонид и, как ему казалось, во все горло заорал: «А-а-а!» — на самом же деле лишь замычал и, подпрыгнув в постели, проснулся.

— Ты че? — прошептала невнятно Лерка.

— Спи. Спи. Ничего. — С облегчением перевел он дух и прижал ладонью Лерку к постели и не отпускал до тех пор, пока не занемела от неподвижности рука. Затем поднялся попроведать дочку. Слягав одеяло, уронив подушку, руки и ноги вразброс, девчушка доверчиво обняла бабы Линин старинный сундучок, сотворенный вятскими умельцами и с малолетства обогретый ее телишком, а до нее сундучок этот обживали, грели, хранили в нем подвенечные платья, нехитрое деревенское приданое, клубки, платки, узелки с серебрушками и леденчиками, половички, скатерти, кружевца дальние родственницы Светки, которых она никогда не видела, не знала и уж не увидит и ничего о них не узнает... «Что уж тут болтать о связи времен. Порвались они, воистину порвались, изречение перестало быть поэтической метафорой, обрело такой зловещий смысл, значение и глубину которого дано будет постичь нам лишь со временем и, может быть, уже не нам, а Светке, ее поколению, наверное, самому трагическому за все земные сроки...»

Бережно подсунув Светке под голову подушку, прикрыв ее одеялишком, Сошнин опустился на колени возле сундука, осторожно прижался щекой к голове дочки и забылся в каком-то сладком горе, в воскрешающей, животворящей, печали, и, когда очнулся, почувствовал на лице мокро, и не устыдился слез, не презирал себя за слабость, даже на обычное ерничество над своей чувствительностью его не повело.

Он вернулся в постель, закинув руки за голову, лежал, искоса поглядывая на Лерку, закатившую голову ему под мышку.

Муж и жена. Мужчина и женщина. Сошлись. Живут. Хлеб жуют. Нужду и болезни преодолевают. Детей, а нынче вот дитя растят. Одного, но с большой натугой, пока вырастят, себя и его замают. Плутавшие по земле, среди множества себе подобных, он и она объединились по случаю судьбы или всемогущему закону жизни. Муж с женою. Женщина с мужчиной, совершенно не знавшие друг друга, не подозревавшие даже о существовании живых пылинок, вращающихся вместе с Землей вокруг своей оси в непостижимо-громадном пространстве мироздания, соединились, вот чтоб стать родней родни, пережив родителей, самим испытать родительскую долю, продолжая себя и их.

Не самец и самка, по велению природы совокупающиеся, чтобы продлиться в природе, а человек с человеком, соединенные для того, чтоб помочь друг другу и обществу, в котором они живут, усовершенствоваться, из сердца в сердце перелить кровь свою и вместе с кровью все, что в них есть хорошее. От родителей-то они были переданы друг дружке всяк со своей жизнью, привычками и характерами — и вот из разнородного сырья нужно создать строительный материал, слепить ячейку во многовековом здании под названием Семья, как бы вновь народиться на свет и, вместе дойдя до могилы, оторвать себя друг от дружки с неповторимым, никому не ведомым страданием и болью.

Экая великая загадка! На постижение ее убуханы тысячелетия, но, так же как и смерть, загадка семьи не понята, не разрешена. Династии, общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья, если он и она блудили, не находя друг друга. Династии, общества, империи, не создавшие семьи или порушившие ее устои, начинали хвалиться достигнутым прогрессом, бряцать оружием; в династиях, империях, в обществах вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло начинало одолеваеть добро, земля разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, уже безо всяких на то оснований именуемый себя людьми.

Но в современном торопливом мире муж хочет получить жену в готовом виде, жена опять же хорошего, лучше бы — очень хорошего, идеального мужа. Современные остряки, сделавшие предметом осмеяния самое святое на земле — семейные узы, измерзавившие древнюю мудрость зубоскальством о плохой женщине, растворенной во всех хороших женах, надо

полагать, ведают, что и хороший муж распространен во всех плохих мужчинах. Плохого мужика и плохую женщину зашить бы в мешок и утопить. Просто! Вот как бы до нее, до простоты той, доскрестись на утлом семейном корабле, шибко разохшемся, побитом житейскими бурями, потерявшем надежную плавучесть.

«Муж и жена — одна сатана» — вот и вся мудрость, которую ведал Леонид об этом сложном предмете.

«А ну-ка, что у товарища Даля?» Он осторожно начал перелезать через Лерку. Привыкшая спать со Светкой, караулящая каждое ее движение и шевеление, слышащая даже дыхание своего единственного дитяти, Лерка, не просыпаясь, захлопала рукой рядом.

— Ты че? — снова спросила сонно и глухо.

— Спи, спи. Ничего, — снова негромко отозвался Леонид, прикрывая ее простыней. — Я печку подтоплю. Светке холодно.

И он затопил печку, хотя в квартире было не холодно, посидел возле открытой дверцы, подышал сухим теплом, посмотрел на красиво, на бодро танцующее пламя и отправился к столу, косясь на вольно раскинувшуюся, в волосах себя запутавшую Лерку.

Над письменным столом, когда-то забракованным по дряхлости в технической конторе станции Вейск и безвозмездно отданном тете Лине, прибита полочка для учебников, тетрадей и школьных принадлежностей. Ныне на полочке, шатнувшись к окну, стоят словарь, справочники, любимые книги, сборники стихов и песен. Среди них зеленым светофорным светом горит обложка книги «Пословицы русского народа». Молодой литератор и уже испытанный в семейных делах муж открыл толстую книгу на середине. Раздел: «Муж — жена» занимал двенадцать широченных книжных страниц — молодая русская нация к прошлому веку накопила уже изрядный опыт по семейным устоям и отразила его в устном творчестве.

«Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи». «Разумно, очень разумно и дельно!» — ухмыльнулся мыслитель из железнодорожного поселка. Но скоро такие откровения пошли, что у него пропала охота зубоскалить: «Смерть да жена — Богом суждена», «Женитьба есть, а разженитьбы нет», «С кем венчаться, с тем и кончаться», «Птица крыльями сильна, жена мужем красна», «За мужа завалюсь — никого не боюсь».

«Ага! Как же! — не согласился на сей раз с народной мудростью Леонид. — Познакомить бы вас с современной женщиной!» Он произвольно покосился на Лерку. «Жена не сапог, с ноги не скинешь». «Что верно, то верно», — длинно выдохнул Сошнин и водворил книгу на место.

И без словаря одних наставлений бабки-покойницы для разумной жизни хватит, порешил он. «Семьи рушатся и бабы с мужиками расходятся отчего? — вопрошала бабка Тутышиха, сама себе давая ответ. — А оттого, что сплят врозь. Дитев и друг дружку не видют неделями — чем им скрепляться? Мы, бывало, с Адамом, поцапаемся, когда и подеремся — но муж с женою хотя и бранятся, да под одну шубу ложатся! Ночью-то, бывало, Адамка на меня ручку нечаянно положит, я на ево — ножку от жары закину, и, глядишь, замиренье, спокой да согласие в дому...»

«И то правда, — вздохнул Сошнин. — Бабка решала сложные задачи без всяких там дробей, простым, но точным способом».

Леонид постоял среди комнаты, погладил себя по голове. Из-за «гардероба» начинал просачиваться слабый свет. «Однако гробину эту все же придется рубить на дрова, — погладил

он облезлое сооружение. Оно, будто старый пес, шершавым языком цеплялось за пальцы, приятельски покалывало ладонь. — Ничего не поделаешь, друг. Современный быт требует жертв! Ничто новое без жертв у нас не создается и не излаживается», — виновато усмехнулся хозяин четвертой квартиры.

Рассвет сырым, снежным комом вкатывался уже и в кухонное окно, когда насладившийся покоем, среди тихо спящей семьи, с чувством давно ему неведомой уверенности в своих возможностях и силах, без раздражения и тоски в сердце Сошнин прилепился к столу, придерживая его расхлябанное тело руками, чтоб не скрипел и не крякал, потянулся к давней и тоже конторской лампе, шибко изогнул ее шею с железной чашечкой на конце, поместил в пятно света чистый лист бумаги и надолго замер над ним.

1982—1985

mir-knigi.org